# Белый квадрат. Лепесток сакуры

**Автор:**
Олег Рой

Белый квадрат. Лепесток сакуры

Олег Юрьевич Рой

Белый квадрат #1Капризы и странности судьбы

Оказавшись в японском плену, Виктор Афанасьевич Спиридонов впервые вышел на белый квадрат татами и постиг основы борьбы, которой посвятит всю свою жизнь. Тогда же он встретил свою любовь, которой суждено будет вернуться к нему в трех обличьях. Благороднейший человек, он пройдет через горнило войны и революции, найдет и потеряет свою любовь, изведает счастье и горечь, но никогда не предаст ни себя, ни свои идеалы. Как много ему еще предстоит, а пока перед ним – белый квадрат, похожий на еще не исписанный лист. Все только начинается…

Олег Рой

Белый квадрат. Лепесток сакуры

© Резепкин О., 2017

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

* * *

Спасибо моим друзьям – продюсерам фильма «Начало. Легенда о самбо», а также лично Георгию Шенгелия и Сергею Торчилину, чьи идеи вдохновили меня на создание этого романа, и моему консультанту по политико-экономическим, военным и социально-бытовым аспектам сюжета Битанову Алексею Евгеньевичу.

Памяти моего сына Женечки посвящается.

События, описанные в романе, не претендуют на полную историческую достоверность и являются художественным вымыслом.

Мы с русскими как братья. Проливали вместе кровь на тренировках. Дзюдо вообще особый вид спорта. Каждый всегда готов прийти друг другу на помощь. Это настоящее братство…

…только в соперничестве с лучшими можешь сам стать лучшим. И я очень рад за Хасана. Конечно, мечтал его победить. Но он сейчас номер один. Без вариантов.

Тревис Стивенс, американский дзюдоист, серебряный призер ОИ-2016

## Глава 1. У истоков

Среди окружающих нас вещей всегда найдутся такие, которые символизируют собой эпоху. Созидая что бы то ни было, человек стремится не только получить сугубо утилитарную вещь, нет, в каждое изделие своих рук он, вольно или невольно, вкладывает некую идею или чувство. И это относится не только к ремесленным предметам, но и к продуктам массового производства. Конечно, граненый стакан, изготовленный на стекольной фабрике, не имеет какой-то индивидуальности, но вместе с тем может являться неким символом, культурным феноменом эпохи.

Бронзовая настольная лампа с зеленым абажуром из дутого стекла, несомненно, подчинялась этому правилу. Она могла служить олицетворением уходящей

эпохи, эпохи НЭПа, иллюзорного мещанского рая, выросшего из зверств военного коммунизма и медленно раздавливаемого траками наступающей индустриализации, уже ассоциирующейся с ранее незаметным, но все больше выходящим на передний план Сталиным. Впрочем, человек, которому светила эта лампа, не задумывался о символическом значении предмета. Для него лампа ничего не обозначала, не символизировала, да и вообще нужна была только с одной, абсолютно прозаической целью – светить. Поздней весной в Москве в десять-одиннадцать часов вечера еще довольно светло, но не настолько, чтобы писать, если, конечно, не хочешь испортить зрение. Можно, разумеется, писать днем, но днем наш герой был занят другими, не менее, а точнее – намного более важными делами.

Откровенно говоря, трудно было представить себе человека более далекого от канцелярщины, чем тот, кто сидел за видавшим виды конторским столом в маленькой, если не сказать крохотной комнатке общежития начальствующего состава НКВД и, поминутно останавливаясь и морща высокий лоб, выводил на листе писчей бумаги строки аккуратным и крупным каллиграфическим почерком. Чувствовалось, что он из какого-то иного мира, отстоящего не только от вселенной бюрократов, но и от реальности Советской России, балансирующей меж уходящим НЭПом и наступающим ему на пятки стальным гигантом индустриализации и коллективизации. Этого человека легко было вообразить гарцующим на коне во главе колонны кавалеристов или лихо несущимся в сабельную атаку, впрочем, пусть это и не отвечало современным реалиям, несложно было его увидеть на каком-то приеме или балу. Мужчина действительно был военным, более того, в прошлом – офицером царской армии и действительно участвовал и в парадах, и в боях, и в торжественных приемах, хотя на балу появлялся всего несколько раз, и то не в высшем обществе. Он продолжал быть офицером и сейчас, де-факто, конечно же, потому что в Советской России офицеров как таковых не было уже десять лет, а был начсостав – командиры, комиссары и военспецы.

Наш герой был как раз из последних. Стреловидные петлицы, украшавшие воротник его френча, указывали на его ведомственную принадлежность к рабоче-крестьянской Красной милиции, но одинокие ромбы на них, в отличие от армейских, не давали четкого представления о его месте в иерархии этого сложного растущего организма. В милиции, в отличие от армии, пока не существовало установленных званий, а должность нашего героя именовалась очень расплывчато – заведующий отделом специального обучения личного состава рабоче-крестьянской Красной милиции. Вот и понимай как знаешь.

Ничего сверхъестественного в таком положении вещей не было: страна стремительно менялась, вместе с ней менялись и органы правопорядка. Но наш герой, как и всякий порядочный военспец, интересовался исключительно своими вопросами и безукоризненно выполнял только ту работу, которая входила в сферу его непосредственной деятельности. Оттого-то он и был далек от канцеляризма и бюрократии, ему почти не приходилось сталкиваться с бумажным валом, грозящим поглотить многочисленные советские учреждения, несмотря на бессильный гнев победившей всех и вся партии рабочих и крестьян, люто ненавидевшей всякую бюрократию. И за перо он взялся вовсе не для того, чтобы составить очередной протокол или распоряжение. Его работа была куда более важной – методической. Точные, выверенные формулировки, ложащиеся под его пером на бумагу сразу же, без поправок, касались той области, в которой наш герой был исключительным на то время авторитетом.

«Состязательный характер двухсторонней тренировки служит не только для простого броска на землю, как полагают многие, а для броска одним из приемов. Если же и последует простой бросок или падение на землю, то в этом случае необходимо применить на земле один из приемов. Таким образом, средством для достижения победы могут служить только приемы, входящие в руководство как имевшие практическое применение.

Для использования при самых разнообразных условиях этого небольшого цикла приемов является привычка применения их «по принципу», что в жизни встречается чуть ли не чаще, чем применение приемов из основных положений, т. е. употребляемых для разучивания».

Мужчина откладывает ручку на край чернильницы, сцепляет ладони и хрустит пальцами, рассеянно глядя в заполняющие комнату сумерки. Он не заметил, как они сгустились. Когда он приступил к работе, в комнату еще светило золотым светом закатное солнце. Разняв пальцы, мужчина поднимает лист бумаги перед глазами и перечитывает последние строки. Вздыхает.

Слова – казалось бы, такие понятные – не передают всей глубины вложенной в них идеи. Таланта литературного у него нет, и это его тревожит. Ну не может он выразить мысли ёмко и внятно. А четкость действий, ведущая к победе, – его кредо; отличительная черта характера. Благодаря этому он стал лучшим бойцом в Советской России, а может быть, и во всем мире.

Имя мужчины – Виктор Афанасьевич Спиридонов. Ему сорок четыре года, из них двадцать он посвятил борьбе. Сначала это было дзюудзюцу. Книга, которую он пишет, так и называется: «Руководство по самообороне без оружия по системе дзюудзюцу». Но сейчас Виктор Афанасьевич сомневается в правильности названия.

Спиридонов вспоминает, как впервые столкнулся с описанными им приемами. Хотя ситуация была опасная и трагическая, он был заворожен точностью и эффективностью действий врага. Да, впервые он увидел приемы дзюудзюцу в исполнении противника, и жертвой стал человек, его друг. В тот день у Волчьих гор Спиридонов потерял друга, но, сам того не ведая, нашел свое призвание.

* * *

Ротмистр Гаев не боялся, как говорится, ни черта, ни дьявола. Спиридонов знал его не дольше двух месяцев, но за это время они успели крепко сдружиться. Подпоручик (или поручик?.. как знать – Артур был в блокаде, и такие мелочи, как служебное повышение или очередное награждение, до него не доходили) Спиридонов непременно брал с собой Гаева всякий раз, как отправлялся в разведку или в рейд по тылам. Вот и сейчас они вместе были в конном пикете, пытаясь обнаружить вероятную переброску японских войск, которая, несомненно, свидетельствовала бы о скором начале наступления и о направлении главного удара японцев.

Они ехали по перелеску меж сопками; растущие негусто деревья едва их скрывали, но не мешали им наблюдать, однако пока никакого присутствия противника заметно не было. Спиридонов и Гаев полагались не столько на зрение, сколько на слух и обоняние. Нюх у Спиридонова и всегда был хороший, а тут за несколько месяцев чувства его обострились настолько, что он мог унюхать скрытно передвигающегося в густом гаоляне или по редколесью врага.

Людей без недостатков, как всем известно, нет. Единственным бьющим в глаза недостатком ротмистра Гаева была, пожалуй, его излишняя словоохотливость. Он говорил все время, если не спал, и даже во сне порой пытался что-то кому-то втолковывать. Сейчас, держа лошадь полукрупом назад от Спиридонова, он тихонько бубнил:

– Вот, на привал они остановились недалеко от Талиенваня, там, где три сопки. Под одной и бивуак разбили. Место хорошее, от япошек сопки загораживают, стена почти отвесная; со всех сторон заросли в два роста. Обзору, конечно, нет никакого, но их и не за этим послали. А если кто чужой полезет через чащобу, так слышно сразу же. Я и сам бы лучше места не выбрал. Сидят они у огня, байки плетут, чисто как мы с тобой…

Спиридонов поморщился; Гаев этого не заметил, да и не мог, поскольку был чуть позади.

– …как вдруг Дейнека им говорит…

– Что за Дейнека? – среагировал Спиридонов.

– Вольноопределяющийся, из забайкальцев, – с готовностью пояснил Гаев. – У него лицо оспой побито, видал?

Спиридонов неуверенно кивнул. Оспа часто делала вылазки в русское Забайкалье из китайских краев, и побитое ею лицо среди местных уроженцев не было какой-то диковинкой.

– Говорит, мол, темнота-то! Его, ясно, давай вышучивать, но Дейнека – тот себе на уме. Нащупал на земле камушек, своих вполуха слушает, ровно чего-то ждет…

– Гляди-ка, опять! – перебил его Спиридонов.

Гаев приложил к покрытому испариной лбу ладонь, прикрывая глаза от солнца:

– Где? Не вижу!

– Вон там, на сопке, где груда камней! – указал Спиридонов.

Гаев подался в седле вперед, прищуриваясь:

– Камни вижу… да не почудилось ли тебе?

– Говорю, там что-то сверкнуло! – упрямо настаивал Спиридонов. – Похоже, у япошек «секрет» там, за нашими в долине сидят наблюдают. Сам посмотри, какой оттуда обзор! А?

– Подъедем поближе, – решил Гаев. – И посмотрим.

Он понизил голос, словно боялся, что его могут услышать, и продолжал:

– Ну вот, сидят они, значит, и вдруг Дейнека этот камень ка-ак зашвырнет куда-то. И тут же в темноте кто-то вскрикнул, а потом и наземь что-то тяжелое – бух!

– Гляди, гляди, – сдавленно прошептал Спиридонов, указуя рукой все на ту же груду камней. – Что, Фома неверующий, скажешь, почудилось мне?

На склоне сопки в камнях что-то сверкнуло: раз, другой…

– Ты смотри, – в тон Спиридонову ответил Гаев, спускаясь с коня на землю. – Похоже, и впрямь япошка шалит. Значит, так, если мы сейчас в перелесок-то выйдем, прямо на него, он нас сразу заметит.

Спиридонов, спешиваясь, согласно мотнул головой, не глядя на Гаева. Противник засел на крутом склоне сопки, и нечего было думать, чтобы добраться до него верхами. Лошадей пришлось оставить в перелеске, но казацкие кони к такому были привычны.

Гаев махнул рукой в сторону запада, где перелесок ближе всего подходил к сопке:

– Я пойду туда, попытаюсь подняться у осыпи. А ты зайди с этой стороны, но смотри, чтобы не попасть ему в поле зрения, когда из леса выйдешь. Лучше крюк накинуть, чем зря пропасть.

– Не учи ученого, – кивнул Спиридонов, тоже понизив голос. – Как атаковать будем? Надо разом ударить!

– Кто первый подползет к месту, пусть прокричит удодом, – предложил Гаев. – Сможешь?

Спиридонов немедленно выдал «худутут», клич забавной хохлатой птички, и насмешливо посмотрел на Гаева:

– Или у вас в приморье удоды по-другому кричат?

– Не слишком похоже, да ладно, сойдет, – махнул рукой ротмистр. – Ну, с Богом!

– Стоп, – остановил его Спиридонов.

– Что еще? – удивился Гаев.

– Чем там с твоим Дейнекой-то дело кончилось?

Гаев зевнул:

– Он своим камнем японца подбил. Японец чудной оказался: весь в черном, рожа тоже какой-то ваксой перемазана, если бы не стонал, не нашли б его в темноте. Да Дейнека не промахнулся, камнем так ловко попал, что враз башку ему проломил. Он к утру и преставился – японец, стало быть, не Дейнека. Так и не взяли в толк, что был за человек, но решили, японский лазутчик… Эх, живьем бы такого взять!

– Глядишь, и возьмем, – вздохнул Спиридонов.

* * *

Солнце в тот день, как назло, немилосердно палило, отчего влажный воздух, и так не сильно здоровый, сделался тяжелым и неприятным, словно вдыхаешь зловонный миазм. Давно перевалило за полдень, и отправившееся к закату светило слепило глаза. Спиридонов взбирался по склону.

И все-таки он поспел первым, правда, поднялся выше того места, где они с Гаевым видели странные проблески. Теперь он думал, как будет спускаться. Футах в пятистах под ним высилась груда камней, или, вернее, саманного кирпича, раскрошившегося от времени, – вероятно, когда-то здесь была одинокая фанза[1 - Китайское глинобитное строение: дом или хозяйственная

постройка. – Здесь и далее примеч. автора.], теперь совершенно разрушенная.

Со своей позиции Спиридонов видел притаившегося среди камней японца. Одет он был как китайский кули, но Виктор Афанасьевич, с первых дней войны оказавшийся в разведке, японца от китайца отличал с тою же легкостью, с какой опытный собаковод отличает борзую от гончей. Это был японец, к тому же военный, и весьма вероятно, что офицер. Спиридонов легко мог всадить в него пулю из револьвера, но расстояние было все-таки великовато, а ближе подойти и не обнаружить себя не представлялось возможным. Склон был не отвесный, но довольно-таки крутой, ни сбежать, ни спрыгнуть. Виктор Афанасьевич все еще думал, как бы аккуратно преодолеть расстояние, когда судьба решила все за него.

Гаев был профессионалом в своем деле – не то что японский наблюдатель, а и Спиридонов его не замечал, пока он не скользнул прямо под груду камней, за которой таился японец. У Спиридонова были револьвер и сабля, у Гаева – только казачья берданка (забайкальские казаки не успели полностью перевооружиться на трехлинейку, да и Гаев говорил, что с берданкой ему сподручнее). К этой берданке ротмистр приделал штык от японской «мураты», который снимал и носил на ремне, а пристегивал, лишь когда было надо. Вот и сейчас он застыл за камнями, бесшумно достал штык и присоединил его к стволу винтовки самодельным хомутиком.

Вернее говоря, бесшумным этот процесс был лишь для Спиридонова; японец явно что-то услышал, однако сделать ничего не успел; он только поднялся, а сидел до того, как обычно сидят японцы, на пятках; Гаев выскочил на него, будто чертик из табакерки, попутно гудя удодом. Вероятно, ротмистр решил, что внезапность – лучший из видов оружия…

Дальнейшее Виктор Афанасьевич прекрасно себе представлял, ибо видел неоднократно. Гаев слегка ткнул японца штыком в шею, чтобы чиркнуть по коже, но, упаси бог, ничего важного не повредить; после, резко вывернув винтовку, ударил японца прикладом в колено. От такого удара противник, как правило, падал, затем следовал удар в солнечное сплетение, под дых, и, пока супостат пытался вспомнить, как надо вдыхать, Гаев успевал его спеленать.

Так было всегда, но не в тот день. Когда приклад берданки, как крыло мельницы под порывом ветра, метнулся вниз, японец легонько, словно был сделан из чего-то пластичного, переместился в противоположную сторону. На зрение

Спиридонов не жаловался и видел все до мельчайших деталей: как пальцы япошки сжимаются на цевье берданки, руки уходят назад, и он, точно балерина Императорского театра (черт его разберет, почему такое сравнение пришло в тот момент ему в разум), разворачивается, пропуская удивленного Гаева с правой стороны. От неожиданности ротмистр не удержал равновесия и кувыркнулся, чувствительно приложившись боком и головой о камни. Спиридонову показалось, что Гаев потерял сознание – он не пытался ни подняться, ни защититься, когда японец легким, каким-то даже изящным движением, вновь более приличным в балете, нежели на войне, поднял вверх гаевскую винтовку.

Поднял и опустил – раз, другой, третий… Каждый удар сопровождался фонтанчиком крови, когда штык входил Гаеву в плоть. И Спиридонов сорвался. Вскочив из укрытия, он выстрелил по торжествующему японцу, впервые на этой войне выстрелил в спину. Расстояние было предельное для нагана, но глазомер не подвел Спиридонова. Первая пуля попала в цель. Японца швырнуло на его жертву. Он, однако, попытался встать. Спиридонов бросился вниз, стреляя на ходу. Два или три раза промазал, но первое попадание, должно быть, было серьезным. Когда он оказался рядом с телом товарища, японец осел на колени – будто молился. Кровь текла у него по губам, глаза не выражали никакой мысли – ни гнева, ни страха, ни мольбы, только непонятное смирение.

Он что-то сказал по-японски. Спиридонова охватило желание выстрелить в японца в упор – из-за него погиб прекрасный парень, его друг, казак Валерка Гаев… В том, что Гаев мертв, не было ни малейших сомнений – колотые раны в груди, застывшая грудная клетка, запекающаяся на гимнастерке кровь явственно об этом свидетельствовали. Сейчас, сейчас он своими руками порешит супостата.

Он рванул саблю и со всего маху плашмя ударил японца по голове. Если проломит голову, что ж, так подлому япошке на роду написано. А не проломит – доставит в штаб языка.

Его поразило то, что, несмотря на смирение в глазах, противник попытался уклониться от неминуемого удара. Возможно, ему бы это и удалось, даже с пулей в спине, но Спиридонов бил с праведной яростью… и еще чем-то новым. Он чувствовал нечто неоформившееся, непонятное. Какой-то зуд, словно он проведал, что на бесхозном поле за околицей закопан клад и нужно спешно извлечь его из земных недр.

Тогда Виктор Афанасьевич еще не знал, что в тот день он впервые столкнулся с дзюудзюцу. И не догадывался, чем станет дзюудзюцу в его жизни. Но чувствовал интерес – странный и непонятный, только усилившийся после обыска пленника.

* * *

И все же его борьба отличается от того, что называется дзюудзюцу или дзюудо. От того, чему учат в Кодокане, далекой японской школе, о которой ему рассказывал его учитель, от того, что написано в небольшой брошюрке из рисовой бумаги, отнятой им у пленного японца, с такой артистической легкостью расправившегося с его другом Гаевым. Тогда, у Волчьих гор, таща на себе по склону сначала связанного пленника, а после – бездыханного Гаева, Спиридонов чувствовал злую обиду. Обиду на то, что какой-то сопляк, почти мальчишка (японец оказался очень молод) мог так легко справиться с пышущим здоровьем и обладающим завидной волей к жизни Гаевым. Ему было до боли обидно, что его враг владеет чем-то, что может дать ему такой карт-бланш. И он, не зная иероглифов, тщился разобраться в отнятой у японца брошюре, но не сумел, зато иллюстрации, весьма примитивные, были красноречивы. Разглядывая убогие эти рисунки, Спиридонов уразумел, что держит ключ к чему-то, позволяющему справиться с более сильным противником, и страстно возжелал овладеть этой наукой. Тогда он еще не знал, что решительным людям судьба или Бог всегда посылает то, что они настойчиво ищут, – но не всегда так, как они предполагают это получить.

Наш герой откладывает в сторону полуисписанный лист, вынимает из стопки другой, приподняв пресс-папье, вероятно, помнящее еще Александра Освободителя, подкладывает на стол лист бюварной бумаги, на него кладет чистый лист писчей, макает ручку в чернильницу…

«Я не знаю, можно ли считать борьбу, преподаваемую мной на курсах самообороны, и дальше дзюудзюцу. Для меня теперь очевидно, что я сильно отдалился в своих исканиях от японского образца как в прикладном, так и в отвлеченно-идеологическом смысле.

Строго говоря, японское дзюудзюцу, как и предупреждал меня мой учитель, идеально подходит только для японцев, притом и то лишь тогда, когда оно

развивается синхронно с самим обществом. Я постарался адаптировать дзюудзюцу для России, сделать его гармоничным со временем, в котором живу. Смею надеяться, это мне удалось – и что теперь прикажете, именовать его «красное пролетарское дзюудзюцу»? Звучит абсурдно, хотя, по сути, абсолютно верно. И рабоче-крестьянским дзюудзюцу мне его именовать тоже не хочется…»

Виктор Афанасьевич опять откладывает ручку и перечитывает написанное. Хмурится, кладет лист поверх бюварной бумаги и продолжает мысль:

«…хотя и это очень верно. Если милиция у нас рабоче-крестьянская, то какова ее борьба? Суть в другом – большую часть времени как инструктор я уделяю тому, чтобы выбить…»

Слово «выбить» Виктор Афанасьевич подчеркивает двумя чертами, причем последняя едва не надрывает бумагу не слишком высокого качества.

«…из них их прошлый опыт, заменив его системой. Довести применение системы до автоматизма, до рефлекса.

В идеологическом плане это соответствует перековке, в целом проводимой в рамках подготовки кадров для рабоче-крестьянской Красной милиции, да и всей системы пролетарского образования. Из вчерашних сословно разобщенных представителей трудящихся масс мы создаем нового человека, человека будущего. И у этого человека будущего система обороны также должна быть новой.

С этого момента я считаю…»

Однако лист заканчивается. Виктор Афанасьевич хмурится, вынимает бюварную бумагу из-под листа, промокает тыльной ее стороной написанное, комкает промокашку и отправляет комок в небольшой, наполовину заполненный туесок на краю стола. Переворачивает лист, кладет его на другой лист бюварной бумаги, оставшийся после первого листа, на котором писал, и быстро дописывает, забыв обмакнуть в чернильницу полусухое перо:

«…нецелесообразным именовать эту систему дзюудзюцу или дзюудо с любой приставкой…»

Написав это, Виктор Афанасьевич останавливается. Мысль следует продолжить, но почему-то это не так просто, как кажется. Всегда очень непросто сделать шаг из привычного тебе мира, из комфорта – к неизвестности, к неопределенному будущему.

Но иногда это необходимо, если и неочевидно.

Шаг в будущее, шаг, способный изменить все в жизни человека, людей, общества, эпохи, поколения и даже всего мира, не бывает выстрелом баковой шестидюймовки или взрывом ядерной бомбы в небе над ничего не подозревающим городом. Все это последствия. Чтобы баковые орудия стреляли, а бомбы взрывались высоко в небесах, сначала следует произнести слово или, как вариант, написать его. В Библии сказано: вначале было Слово, и вот со времен того Слова все в этом мире начинается со слов, все хорошее и все самое ужасное. Посмотрите на что угодно, на любой результат жизнедеятельности человечества – в начале этого было слово.

И когда это слово произносится, когда первый камень будущей лавины падает с вершины горы, вряд ли кто-то, пусть сам подтолкнувший камушек к падению или тот, кто сам произносит первое слово, думает о том, какая лавина накроет из-за этого город, лежащий в долине у его ног.

Виктор Афанасьевич решительно макает ручку в чернильницу.

«Полагаю, эту систему следует именовать в дальнейшем строго, по сути: система самообороны без оружия, или, сокращенно, система Сам».

На мгновение он останавливается, словно хочет дописать еще что-то, но откладывает ручку, убирает оба листа с текстом (недописанный и тот, на котором писал только что) в бюварную папку, которую, приподняв пресс-папье, кладет поверх стопки ранее исписанной им бумаги, затем расстегивает карман гимнастерки, откуда достает синюю пачку моссельпромовских папирос «Кино». Выщелкивает одну, сминает козью ногу, подкуривает.

На сегодня работа закончена. Завтра, как всегда, предстоит тяжелый день. Надо будет забежать в главк – накопилось слишком много вопросов, требующих решения. Конечно, не столь важных на первый взгляд, особенно в сравнении с другими вопросами, которыми этот главк занимается… но кто скажет, какой

вопрос в конечном счете окажется самым важным?

* * *

Есть вещи, символизирующие эпоху, но есть такие, с которыми связано что-то не менее важное в жизни отдельного человека. Такие памятные вещи мы бережно храним как некие талисманы, ничего не значащие для других, но очень важные для нас.

На столе у Спиридонова, аккурат у подножия той самой лампы, стоит обычная коробочка для бенто. То есть, конечно, для Москвы конца двадцатых годов это, возможно, и не обычная вещь, хоть и вовсе не диковинка, но в той же Японии или Корее подобные коробочки порой выбрасывают на свалку после однократного использования.

На крышке лакированной коробочки небольшая лаковая миниатюра. Белый квадрат татами залит солнцем; на нем склонились в ритуальном поклоне два бойца дзюудзюцу. Сейчас между ними начнется бой, но по фигурам бойцов это незаметно. Они спокойны, они словно исполнены почтения друг к другу.

Эта коробочка – подарок, но важно в ней не только это. Она хранит прошлое Виктора Афанасьевича, прошлое в виде материальных предметов, и каждый можно потрогать, взять в руки. Синяя варежка, слегка пахнущая полевыми цветами, лежит поверх шелковой ленты, похожей на часть пояса от женского кимоно. Варежка накрыта пожелтевшей, точнее, посеревшей от времени брошюркой из рисовой бумаги; рядом с ней револьвер системы «наган», в идеальном состоянии, заряженный и смазанный. Тут же знаки двух российских орденов, «клюква» Святой Анны четвертой степени и кудрявый крест Святого Станислава третьей степени с мечом и бантом.

Виктору Афанасьевичу не надо заглядывать в коробочку, чтобы вспомнить все, что связано с лежащими в ней предметами. Однако вспоминать он не любит, наоборот, он всеми силами старается забыть, изгладить из памяти все, что с ним случилось, – до самого ближайшего прошлого. До вчерашнего дня. Он рад был бы закрыть все свои воспоминания в этой коробочке, ведь только он знает, какой болью наполнена эта симпатичная емкость с лаковой миниатюрой на крышке. Если б он мог, то рядом с револьвером и варежкой лежала бы вся его память. Память Виктора Афанасьевича Спиридонова.

Но память человека – terra incognita даже для современной науки, успевшей, если верить публикациям, расшифровать и то, что записано в генетическом коде человека. Тем не менее мы не знаем, как работает наш собственный мозг, какие механизмы заставляют «запоминающее устройство» нерукотворного компьютера обращаться к тем или иным записям, казалось бы, давным-давно затертым. Память человека нельзя ни перезаписать, ни отредактировать, ни отформатировать. И когда мы говорим о величии нашего разума, недурно помнить, что он, по сути, нам неподвластен.

Память человека имеет огромную силу, созидательную и разрушительную. Горящая болью память Тамерлана воздвигла на реке Джамна Тадж-Махал, но отравленная память ефрейтора Шикльгрубера разверзла самую страшную из войн человечества. Память – сущность невещественная, однако по могуществу своему равна самым впечатляющим стихиям природы. Но еще большую власть она имеет над жизнью каждого человека.

Сейчас, глядя на лист бумаги, на котором еще не просохли чернила, Виктор Афанасьевич размышляет над теми словами, которые он вывел рукой на белом листе. Слова эти только кажутся такими уверенными, но они – плод серьезных раздумий и тяжких сомнений. Для Спиридонова дзюудзюцу не просто борьба, даже не философия или мировоззрение – это его мир, мир, где он жил, где был по-настоящему дома. Мир яркого белого квадрата татами, куда он уходил из непроглядной черноты самых мрачных моментов своей жизни. Дзюудзюцу иногда была единственной тонкой ниточкой, сохраняющей его здравый рассудок и саму жизнь.

То, что такое для Спиридонова дзюудзюцу, понимали далеко не все. Свое «увлечение» Виктор Афанасьевич, как и многие другие, привез из японского плена, но эти другие, возвратившись домой, быстро охладели. Но не Спиридонов: однажды познакомившись с миром дзюудзюцу, он понял, что это его мир, его страсть, становящаяся с каждым днем все сильнее. Вставая из-за стола, Виктор Афанасьевич вспомнил давнишний разговор со своим другом Сашкой незадолго перед залпами в Сараево.

– А ты все своим жужужу занимаешься? – вопрошал тот с дружеской насмешкой, когда они сидели за столиком в «Яре».

Спиридонов кивнул, но поправил, доставая очередную папироску:

– Дзюудзюцу. Занимаюсь, да и других тренирую.

Сашка вздохнул:

– Не понимаю я этого. Не наше оно.

– А для меня, Саш, больше, чем наше, – ответил Виктор Афанасьевич. – Это мое, понимаешь? В жизни черт-те что творится, сам знаешь. Не сегодня завтра война начнется. Сам же говоришь, двуединая монархия рвет постромки, все хочет сербов подмять под себя. А мы как пить дать опять за них встанем. Я, брат, ночами не сплю, думаю: ежели война, на кого мне Клавушку-то оставить? Пропадет она без меня.

Его друг слушал молча.

– А как на татами выйдешь, все меняется, понимаешь? – продолжал Спиридонов.

– Не понимаю, – честно признался Сашка. – Что, забываешь про все возможные неприятности, что ли?

– Нет. – Виктор Афанасьевич отрицательно покачал головой. – Наоборот. Ты все видишь яснее, но вот страха – его больше нет. Чувствуешь, что все в состоянии превзойти, главное – одолеть противника. Сможешь – значит, и с остальным справишься.

– Не понимаю, – повторил Сашка. – Ты не думай, я дзюудзюцу пробовал. Но…

Он отхлебнул из бокала массандровского хереса и закончил:

– Не мое это. Не понимаю. В наше-то время, когда все решают пушки, дредноуты, блиндированные поезда… пережиток какой-то. Как есть архаизм.

– Я, брат, и сам так думал, – признался Спиридонов, – но потом… Знаешь, даже если пушки сменят лучи смерти, как у Уэллса, даже если дредноуты выберутся на сушу или взлетят в воздух, дзюудзюцу не устареет. Пока существует человек из плоти и крови, до тех пор будут существовать и подобные системы…

Так что дзюудзюцу занимала в жизни Спиридонова совершенно особое место… однако теперь вместо нее приходило нечто новое. Его Система. И не потому, что дзюудзюцу была в чем-то хуже; просто Система Спиридонова больше отвечала русскому национальному характеру, если хотите – русскому духу.

Эта новая Система не перечеркивала дзюудзюцу, не отменяла ее достоинств, наоборот, развивала их, адаптировала, делала доступнее. И эта доступность иногда пугала Спиридонова. Ему вовсе не хотелось выпускать джинна из бутылки. Если бы Система стала доступной каждому замоскворецкому босяку – для Спиридонова это было бы настоящим кошмаром. И как раз над сочетанием интуитивной понятности и некой «элитарности» в Системе он работал в настоящее время.

* * *

В тот день Виктор Афанасьевич долго не мог уснуть. Откровенно говоря, он не сознательно, но целенаправленно, специально жил так, чтобы иметь как можно меньше времени для воспоминаний. Вот уже одиннадцать лет он изо дня в день загонял себя до полусмерти, чтобы ночью свалиться на кровать и проспать ровно до тех пор, пока его дисциплинированное тело не разбудит его в пять тридцать для того, чтобы начался новый виток этого цикла, который кому-то более ленивому или расслабленному мог бы показаться настоящим самоистязанием.

А для Виктора Афанасьевича свободное время, досуг и отдых были истинными врагами. Он избегал их, как донжуаны избегают назойливых бывших пассий, а ипохондрики – скоплений людей, среди которых наверняка есть заразные больные. Тем не менее с определенного времени он понял, что ему просто необходимо написать книгу. К этому моменту он подготовил десятки специалистов по рукопашному бою для рабоче-крестьянской Красной армии и рабоче-крестьянской Красной милиции; некоторые, наиболее талантливые, сами стали инструкторами, но Спиридонов не был удовлетворен тем, что получалось из их работы. Книга была необходима, чтобы любой инструктор правильно готовил своих подопечных. Слишком велика была жатва для одного делателя.

И Виктор Афанасьевич с энтузиазмом взялся за новое для себя дело. Впрочем, обладая от природы дисциплинированным разумом, склонным к четким и однозначным формулировкам, к ясным, структурированным схемам и

однозначно понятным мыслям, Виктор Афанасьевич вскоре обнаружил, что новое, незнакомое дело спорится, словно он ничем иным, кроме написания методических руководств, и не занимался в жизни.

Однако у всякой медали есть оборотная сторона. Вынужденный взяться за перо, Виктор Афанасьевич стал меньше уставать, и у него, о ужас, появилось время, чтобы размышлять и вспоминать. Не так сильно, как обычно, уставшее тело не проваливалось моментально в черную, лишенную сновидений яму сна, и Виктор Афанасьевич оставался со своими мыслями один на один. Он ворочался в постели, доставал папиросу из пачки, лежащей на табурете возле кровати, и закуривал, стряхивая пепел в старую, треснувшую чайную чашку, но сон, как нарочно, не спешил к нему. Конечно, он пытался думать о книге, о том, что еще следует сказать в ней, что стоит подчеркнуть и как оформить мысли более четко, недвусмысленно и понятно, но…

Разум человека строптив. То и дело, обращаясь, скажем, за какими-то примерами из прошлого своего опыта, Виктор Афанасьевич невольно соскальзывал в область воспоминаний, чтобы тут же в панике броситься прочь, к спасительному настоящему. Он не любил своего прошлого, более того – если многие из нас мечтали бы вернуться во времена своего детства, то для Виктора Афанасьевича подобное возвращение было бы сущим адом.

Он знал, что ничего не мог бы изменить, что ему пришлось бы в таком случае вновь пережить то, что он едва пережил. Поэтому он не хотел даже мысленно, даже в виде воспоминаний возвращаться к тому, что с ним случилось. Он прекрасно осознавал, что никуда не убежит и не скроется, ведь бежать от прошлого столь же бессмысленно, как бежать от собственной спины. Но и возвращаться к этому прошлому лишний раз ему не хотелось.

Наконец сон одолевал его, но лишь для того, чтобы помимо его желания вернуть в прошлое, туда, где скрывались столь нелюбимые им воспоминания…

## Глава 2. Между прошлым и будущим

Впрочем, память в тот день оказалась милосердной к Виктору Афанасьевичу, насколько вообще может быть милосердной память. Он вспоминал своих

родителей. Отец Виктора Афанасьевича был вятским мещанином, ремесленником-слесарем, еще до рождения первенца перешедшим в купеческое сословие и державшим в Вятке небольшую мастерскую по ремонту простых механизмов. В этих механизмах отец души не чаял, постоянно что-то изобретал, и, вероятно, удачно – семья жила не бедно, а у Афанасия Дмитриевича водились солидные знакомства и в Министерстве путей сообщения, и в горном, и в военном, и в морском ведомствах.

Женился отец Спиридонова в зрелом возрасте, матушка была лет на двадцать моложе его. Она была похожа на Царевну Лебедь работы Врубеля, возможно, еще потому, что всю жизнь была склонна к болезням. Так, она едва не умерла, рожая Виктора, после родов несколько недель страдала жестокой горячкой и потом еще долго едва вставала с постели. Потому Виктор оказался единственным ребенком в семье. Афанасий Дмитриевич нежно любил жену, заботился о ней, возил на курорты, оберегал от всего, как только мог, а когда у жены Светланы обнаружилась чахотка, перебрался в Москву, где медицина была не в пример лучше, чем в Вятке. Он всерьез подумывал о переезде в Италию, хотя был не настолько богат, чтобы в одночасье сорваться с места и там за считаные дни обустроиться. К тому шло, но он не успел.

Светлана Николаевна, матушка Виктора, умерла в сентябре четырнадцатого. Отец пережил ее лишь на полгода, в феврале пятнадцатого заняв заранее купленное рядом с ней место на Дорогомиловском кладбище.

Вспоминая это, Виктор Афанасьевич до скрежета сжимал челюсти, стараясь побыстрее покончить с этой частью своего прошлого. Дорогомиловское кладбище, куда он, несмотря ни на что, приходил еженедельно, было для него по-настоящему страшным местом, и не только потому, что там лежали оба его родителя. Самым страшным местом на карте Москвы было для Спиридонова Дорогомилово, самым страшным – и одним из наиболее часто посещаемых им мест…

Он заставил себя вернуться назад во времени. В те годы, когда родители были живы, когда матушка, видя вбегающего на просторную, залитую солнцем веранду их дома крепкого и здорового мальчугана, своего сына, приподнималась, опираясь на бледную, веснушчатую руку, и слабо, но нежно улыбалась, а ее зеленовато-карие глаза лучились солнечными зайчиками; когда отец, высокий и статный («как офицер», думал Витя), улыбался, сидя рядом с ее кушеткой на табуретке, сколоченной им самим. Он часто брал из мастерской

какую-нибудь работу на дом, чтобы неотлучно быть со своим Светиком, как он называл мать. Виктор Афанасьевич был уверен, что мать прожила относительно долго и вполне счастливо лишь потому, что отец старался как можно больше времени проводить с нею.

Эта уверенность была еще одной занозой, раскаленной металлической занозой в плоти его памяти. Он старался во всем подражать отцу… и не сумел. Не сумел – и не мог себе это простить.

* * *

С младых ногтей Витя хотел быть военным. Нет, даже не так: с ранней юности он твердо знал, что станет военным. Такая перспектива немного пугала мать, но отец постепенно одобрил выбор. Одобрил не просто так – Афанасий Дмитриевич с детства относился к общению с сыном со всею серьезностью, беседуя с ним, как со взрослым, хотя, конечно, и с поправкой на возраст. Потому Витя с детства рос очень серьезным, не по годам смышленым и к тому же ответственным, намного ответственнее многих взрослых. Афанасий Дмитриевич несколько раз на протяжении нескольких лет беседовал с сыном о его выборе и убедился, что выбор военной службы – это не каприз ребенка, очарованного блеском галунов проходящего через Вятку на маневры уланского полка, а серьезное, ответственное решение. Отец лишь предупредил сына о тяготах армейской жизни и особенностях военной карьеры:

– Витя, каждый гражданин – хозяин своей судьбы. Но судьба военного принадлежит не ему, но Отечеству. Некоторые поступки, вполне допустимые для статского, для военного являются не только позором, но даже и преступлением. Тебе придется учиться ограничивать себя в своей свободе, пресекать свои желания. Подчиняться Уставу намного сложнее, чем кажется на первый взгляд…

Но Виктора это не пугало, и вовсе не потому, что он не понимал меру ответственности, о какой говорил отец. Болезни родителей быстро учат детей быть ответственными – а матушка Вити слишком часто болела. Нет, он прекрасно знал, что такое ответственность, и, несмотря на малолетство, был к ней готов. Более того, похоже, его характер был словно специально создан для воинской службы – чувство долга у Виктора Афанасьевича было растворено в крови. Впрочем, такие люди вовсе не редкость, и вся история нашей Родины

тому подтверждение.

Любое государство, любая человеческая общность держится на таких людях, готовых брать на себя груз ответственности, нести этот крест, несмотря на испытания, на плевки, затрещины и жажду большую, чем желание напиться воды, – жажду простого одобрения, простого сочувствия, простого, элементарного сопереживания.

К счастью, мать и отец не только любили сына, но и понимали его, а потому с благословения родителей зимой тысяча восемьсот девяносто девятого года, еще не окончив гимназии, Виктор подал заявление в губернский военный комиссариат, не указав рода войск, где желал бы нести государеву службу – он готов был служить кем угодно, в любой воинской части. И все ж в глубине души, немного тщеславно, но, как оказалось, вполне обоснованно он полагал, что достигнет в армии высоких званий. В отличие от многих самовлюбленных мечтателей, Виктор сразу попал под крыло армейской Фортуны, хоть и не сразу смог осознать, почему его появление на медицинской комиссии вызвало такой ажиотаж. Как выяснилось, он очень удачно подал свое заявление: только что вышел указ по военному ведомству об очередном призыве и вакантными были самые привлекательные места. Хотя, конечно, для того чтобы занять такое место, одного желания было мало, но и тут юноше повезло – Бог и батюшка наделили его отменным здоровьем и крепостью, а от матушки ему достались завидная стать и благородный облик. Спустя некоторое время Виктор, а с ним и его родители были ошеломлены новостью: место получено в придворном Кремлевском батальоне.

Это известие еще больше успокоило матушку, ибо Кремлевский батальон тогда, как и сейчас, в плане тягот воинской службы считался, пожалуй, самым безопасным местом в стране. А вот сам Виктор, покачиваясь на верхней полке вагона пассажирского поезда, следующего по новенькому Транссибу в сторону Первопрестольной, и глядя в непроглядную черноту зауральской ночи, внезапно почувствовал досаду. Служить в придворной части не казалось ему таким уж большим счастьем, ему хотелось быть в «настоящей» армии, защищать Отечество и далекий дом от всякого лукавого супостата. А вместо этого придется тянуть носок на парадах…

В конце концов после короткой борьбы с собой Виктор решил, что тот, кто прикладывает усилия, цели своей добьется, и он с Божьей помощью сумеет выбраться из этого «паркетного болота». А там, глядишь, все может еще и к

лучшему повернуться: в любой другой части он бы был всего лишь вольноопределяющимся из купеческого сословия, а так – рядовой Кремлевского батальона. Чем не старт для настоящей воинской карьеры?

Сама по себе карьера не была целью юного Спиридонова. Его идеалом было «служение без лести», а примерами для подражания были генералы Скобелев, Паскевич, герои Отечественной войны вроде Костенецкого…

Но плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, и молодой Виктор тоже мечтал. Увы, мечте этой не суждено было сбыться – но как часто наши мечты не сбываются лишь для того, чтобы уступить место чему-то лучшему, чем мы сами себе пророчили!

* * *

Иногда разочарование бывает намного приятнее ощущения своей правоты. Даже если ты при этом испытываешь стыд за собственные ошибки. Когда, скажем, человек оказывается лучше, честнее, благороднее, чем казалось тебе, – разве это не повод для радости?

Увы, все мы без исключения заражены вирусом обывательства, и самые лучшие из нас не избежали этой всепроникающей инфекции. Обыватель судит людей по самому плохому своему о них впечатлению. Некоторые называют это осторожностью, зрелостью, а то и мудростью, но это не что иное, как обычное обывательство. Стоит, например, чиновнику недобросовестно отнестись к нам, и не только конкретно этот человек, но и весь класс чиновников в наших глазах становятся взяточниками, лентяями и казнокрадами. Когда мы говорим о полиции, то вспоминаем не тех, кто порой ценой своего здоровья или жизни спасает граждан, о нет! Мы вспоминаем лишь тех, кто недобросовестен или корыстен… или в чем-либо нас ущемил.

Образованные люди восхищаются талантом Салтыкова-Щедрина, но талант ли это или концентрированное обывательство? Возможно, куда более достойное занятие не бичевать пороки, а уметь заметить прекрасное в серости и грязи будней? Может быть, одно доброе слово дороже, чем сотни обличений?

Во всяком случае, почти каждый из нас хотя бы раз в жизни почувствовал сладость собственной неправоты, радость от того, что ошибался. Виктор Спиридонов, оказавшись в Кремлевском батальоне, испытал как раз это незнакомое ему дотоле чувство. Все оказалось не так, как он себе представлял.

Кремлевский резервный пехотный батальон, конечно, участвовал в военных парадах и охране важнейших объектов Москвы, но это была по-настоящему боевая часть, и военному делу учили в ней самым подобающим образом, по-суворовски. Батальон назывался резервным не потому, что всегда пребывал в резерве, нет, он представлял собой «костяк» пехотного полка, в случае войны пополняемый военнослужащими из резервистов. Потому всех проходящих службу в том батальоне фактически готовили по унтер-офицерской программе. А если прибавить сюда еще и парадную службу, которая отнюдь не так легка, как кажется, если судить по грациозности движений солдат Почетного караула, то можно себе представить, какая нагрузка с ходу свалилась на плечи вольноопределяющегося Спиридонова.

К тому же в план обучения входила верховая езда. Честно говоря, Спиридонов побаивался лошадей (но если бы его зачислили в кавалерию, он бы засунул этот страх поглубже в галифе – желание служить в армии было сильнее). Побаивался он и тогда, когда приступил к обучению, и еще некоторое время после, пока не понял, что у него получается. И страх внезапно уступил место восторгу столь сильному, что Спиридонов готов был, как монгольский нукер, дни и ночи проводить в седле своего коня. Звали коня Огонек. Но, к сожалению, батальон был пехотным, зато дружба с седлом предопределила дальнейшую специализацию Спиридонова – войсковую разведку.

Он был только рад сильной нагрузке, которая кому-то бы показалась чрезмерной. Человек, занимающийся любимым делом, никогда не станет роптать по поводу перегрузки и сетовать на усталость. Как говорил персидский шах своему хранителю покоев, утомляет бесцельная беготня, а не любимая работа. Но Виктор был влюблен в военную службу настолько, что в наше время, наполненное рациональностью и эгоизмом, подобное чувство очень трудно представить себе, хотя и сейчас такие люди, как Спиридонов, не редкость. Просто общество не так много уделяет внимания им: ценности у этого общества нынче другие.

Что бы там кто ни говорил, если человек подходит к какому бы то ни было делу с полнейшей самоотдачей, заслуженная награда не замедлит заявить о себе. На

фоне других вольноопределяющихся, не менее влюбленных в дело, которому они посвятили жизнь, Спиридонов смотрелся выигрышно. Сын ремесленника из купеческого сословия, он обладал выправкой прусского офицера, которая, как известно, выработана не за одно поколение кадровой службы. Но, разумеется, выправка сама по себе ничего не дала бы, в отличие от преданности и упорства, с какими молодой Спиридонов постигал воинскую науку. Не прошло и года, как юноша получил унтер-офицерские лычки и отделение новобранцев. Командование отделением было для Спиридонова одним из многочисленных жизненных испытаний, и новоиспеченный унтер-офицер понял это почти сразу.

Он не просил ни о чем и ни на что не намекал. Казалось, ему было абсолютно все равно, что с ним будет дальше, и самым важным для него было превращение вверенного ему отделения в боевую единицу, в совершенный боевой механизм. Ему удалось это сполна, притом что его солдаты искренне сожалели, когда он передал свои полномочия сменившему его командиру. Да и самому ему, несмотря на юность, было жаль расставаться с солдатами, с которыми он успел пройти крым, рым и медные трубы, не выходя за границы Московской губернии, и которые многому его научили. Но, как и предупреждал отец, судьба военнослужащего ему не принадлежит. Отечество, наблюдая за Спиридоновым, решило, что этот вольноопределяющийся достоин большего, чем командование отделением, пусть и в Кремлевском показательном батальоне. Москва отсалютовала белой, еще ничем не напоминавшей кремлевские башней Рязанского вокзала, не так давно ставшего Казанским, и под колесами поезда понеслись версты, разделяющие Москву и Казань.

Впереди было Казанское пехотное училище. Двери этого училища, открывшись перед молодым унтер-офицером из мещан, вполне могли привести его к генеральским звездам. Виктор знал это и в глубине души чаял, что так и будет.

* * *

Прошлое приносит не одну только боль. В тот вечер Спиридонов заснул спокойно. Перед сном он вспоминал Казанское пехотное училище, и эти воспоминания нельзя было назвать неприятными. Шел тысяча девятьсот второй год; империя вот уже четверть века жила в мире, в достатке. Виктору недавно исполнилось девятнадцать.

Удачное начало военной карьеры немного вскружило голову, но не настолько, чтобы он изменил своим жизненным принципам. В Казанском пехотном училище Спиридонов приложил не меньше усилий и прилежания, чем он отдал Кремлевскому батальону. Возможно, его старания были не так заметны в сравнении с достижениями других – под сенью училища собрались лучшие унтер-офицерские кадры множества пехотных полков со всех концов Российской империи. К тому же, как было сказано, Виктор оказался в кругу таких же энтузиастов, как и он сам. Неудивительно, что довольно быстро он нашел себе друзей, и между курсантами, вчерашними подростками, завязалась самая настоящая, крепкая дружба.

Засыпая, Спиридонов вспоминал и совместную учебу, и совместный досуг, порой весьма бесшабашный, но не выходивший за рамки приличного для двадцатилетних курсантов. В конце концов, они были молоды, полны сил и надежд; молодость играла в крови, как вино нового урожая, только что выжатое и начавшее бродить со всею энергией, накопленной за солнечные летние дни. Но и в часы досуга они не забывали, что завтра им предстоит бросить силы на обучение военной науке. Немудрено, ведь каждый из них в бриллиантовых мечтах уже видел себя генералом, и свою бесшабашную компанию они именовали не иначе как «генеральный штаб тысяча девятьсот двадцать пятого года». Четверти века, по мнению членов «генерального штаба», было вполне довольно, дабы украсить плечи погонами с вензелями Государя и генеральскими звездами.

К счастью, Виктор Афанасьевич заснул до того, как течение мыслей могло бы привести его к тому, чем закончились эти мечты. У многих членов «генерального штаба» их сокровенное желание исполнилось, но, видит бог, наверное, каждый бы предпочел навсегда остаться поручиком, лишь бы не заплатить ту цену, в которую обошлись им и звезды на погонах, и ордена на груди. Многие однокашники Спиридонова давно покинули этот мир; пути с другими у него разошлись настолько, что часто военная судьба сводила их в непримиримом, смертельном противостоянии. Из всего «генерального штаба» в пределах досягаемости остался у Спиридонова один лишь приятель тех лет, Саша Егоров. В Казанском они были дружны не разлей вода, несмотря на всегдашнюю конкуренцию за место лучшего, какую ни взять дисциплину. Потом они надолго теряли друг друга, но в трудные для Спиридонова времена Егоров неизменно возникал рядом, будто ангел с небес. Появлялся он всегда вовремя, именно тогда, когда Спиридонову жить становилось настолько невмоготу, что хотелось выть волком или белугой реветь…

Не так давно они виделись, когда Егоров был переведен в Москву, но, как и предупреждал отец Виктора, жизнь военного ему не принадлежит, но принадлежит Отечеству. Саша Егоров, Александр Ильич, недаром был лучшим на курсе – сейчас он командовал Белорусским военным округом в чине комфронта, то есть добился куда большего, чем, видимо, представлял себе в самых честолюбивых мечтах. Вот только звезд на погонах у него не было, равно как и самих погон, что, впрочем, вполне компенсировало наличие четырех ромбов на каждой петлице. Ведь не в погонах с аксельбантами дело, не в наградах и регалиях, а в том, чтобы служить Отечеству.

И все-таки Виктор Афанасьевич был уверен, что для Сашки и это не предел. Он ожидал момента, когда однокашник станет наркомом обороны. Не потому, что по старой дружбе собирался выторговать что-нибудь для себя, отнюдь: Виктор мог бы сделать это и без помощи старой дружбы, будь у него такие намерения.

Ему ничего не нужно было исключительно для себя. Он был вполне доволен той комнатой, в которой жил. Доволен формой, какую носил, пищей из столовой младшего начсостава, папиросами «Кино», на вкус забористыми и противными, но по качеству все-таки лучше махорки, доволен делом, которым он занимался, и тем, что у него получалось. Текущие вопросы ему всегда удавалось разрешать с непосредственным начальством, потому что Виктор не был ни прожектером, ни хапугой-стяжателем и всегда обращался за помощью только в тех случаях, когда сам не мог решить проблему по не зависящим от него причинам и не мог оставить ее нерешенной.

Просто Саша Егоров был родом из юности Спиридонова, из тех дней, когда еще не случилось много хорошего, но и плохого тоже ничего еще не случилось. Они познакомились в последние безоблачные годы страны, которую оба беззаветно любили. Как же хорошо было бы снова встретиться с кем-то из того времени, поговорить, тем более с настоящим другом, каким был для него всегда Сашка, комфронта Егоров.

С какого-то момента Виктору Афанасьевичу стало не хватать близких людей. Он начинал исподволь, незаметно для себя, тяготиться своим одиночеством. Да, у него были его ученики, но он намеренно отстранялся от них, считая, что отношения учитель – ученик не должны перерастать в панибратство; да и большинство обучающихся у него были практически вдвое моложе его и относились к младшему поколению. Это были новые люди, те самые новые люди, о которых говорил перспективный и амбициозный (и, на взгляд Спиридонова,

самый здравомыслящий) член ЦК Сталин, заведовавший в партии вопросами индустриализации.

А Спиридонов, как ни крути, был родом из предыдущего времени, как и Сашка Егоров. Потому Виктор Афанасьевич, засыпая, поймал себя на мысли, что скучает по товарищу юности. Увы, тот предпочитал появляться в минуты, когда Виктор нуждался в помощи и поддержке, а в спокойные времена исчезать надолго то в Белоруссии, то на Кавказе, а то и вовсе в далеком Китае…

* * *

Председатель ОГПУ Вячеслав Рудольфович Менжинский принимал без предварительной записи, потому Виктор Афанасьевич загодя настроился на долгое ожидание в приемной. Дел у преемника и друга Феликса Эдмундовича Дзержинского было, что называется, по горло. Откровенно говоря, Виктор Афанасьевич не особенно вникал в эти дела, но, не первый год зная Менжинского, полагал, что такой орел ловит отнюдь не мух.

В самом начале сотрудничества с ОГПУ, приняв первую группу будущих инструкторов, Виктор Афанасьевич вскоре пересекся с Вячеславом Рудольфовичем в неформальной, если можно так выразиться, обстановке – на позднем чаепитии у Железного Феликса. Поначалу Менжинский показался ему чересчур мягким и интеллигентным для чекиста, особенно на фоне резкого, как серная кислота, Дзержинского. Впоследствии, однако, Виктор Афанасьевич неоднократно убеждался, что за этой мягкостью и интеллигентностью кроется по-настоящему прочный стержень дзержинской закалки. Вячеслав Рудольфович не интересовался политикой, не вступал, как его шеф, в споры с высшим партийным начальством и не примыкал ни к какой фракции. Всю свою энергию он направил на борьбу с преступностью и тем, что таковой считалось.

Возможно, если бы Виктор Афанасьевич больше вникал в дела ОГПУ, он мог бы изменить свою точку зрения на Менжинского, но сам не интересовался тем, что не входило в сферу его компетенции. На том знаменательном чаепитии Менжинский, начав издалека, подвел Спиридонова к мысли, что его дзюудзюцу лучше всего было бы оттачивать на практике. С этим Виктор Афанасьевич не мог не согласиться, более того, он эту мысль разделял целиком и полностью, но посетовал, что не все из того, что он преподает, возможно отработать в спарринге, ибо его секция – не школа гладиаторов, и кадры надо беречь. На что

Менжинский, заметно ободрившись, предложил ученикам Спиридонова проходить действенную практику в рабоче-крестьянской Красной милиции, по сути – по месту службы.

– Совместив при этом необходимое с полезным, – добавил он, прихлебывая пустой чай вприглядку (на столе лежала желтовато-буроватая головка свекольного сахара). – Проверить и отточить навыки в обстановке, приближенной к боевой, не будучи скованными необходимостью беречь партнера. Сказать откровенно, мы ежеминутно нуждаемся в каждом бойце. Как говорили ксёндзы, zniwo wprawdzie wielkie, ale robotnikow malo[2 - Велика жатва, но мало делателей (Матф. 9:36; польск.).].

При этих словах Менжинский поморщился, словно надавил на больной зуб.

– Конечно, бойцы, которых вы готовите, так или иначе вольются в ряды рабоче-крестьянской Красной милиции, – глухо произнес он, – но уже без вашего контроля, что хуже. Да и вам будет интересно оценить поведение своих подопечных в подобных ситуациях. В своей записке на мое имя вы акцентировали внимание на необходимости совершенствования практических приемов борьбы в условиях, далеких от состязательных. Вот вам и случай представится.

Теперь поморщился Спиридонов, но не потому, что был не согласен. Он не любил чай без сахара, но отломить кусок от сахарной головы не решался.

– И как это можно организовать? – спросил он, и в следующие полчаса они с Менжинским со всех сторон обсудили возможности такого сотрудничества. И Виктор Афанасьевич сложил о своем будущем руководителе определенное мнение: при мягкости и интеллигентности – решителен, конкретен и рассуждает только по делу, без лозунгов.

Как заправский военспец. И это Спиридонову было, если начистоту, по душе.

* * *

В приемной, на удивление Виктора Афанасьевича, оказалось непривычно пусто, лишь за новым в столь знакомом ему интерьере, но видавшим виды

канцелярским столом сидела девушка-комсомолка в эркаэмовской форме без знаков различия и красной в белый горошек косынке. Девчушка сосредоточенно что-то штопала, как Спиридонову показалось, какое-то там бельишко, которое при его появлении она быстрым движением спрятала и вскинула на него взгляд:

– Э-ммм, товарищ! Простите, но к товарищу полпреду нельзя!

Виктор Афанасьевич понимающе покивал:

– А кто у него?

Девчушка отчего-то смутилась:

– Н-никого… просто пускать н-не… сказали, что не пускать.

– Кто распорядился? – уточнил Спиридонов. Он не выказывал раздражения, однако был раздосадован – в ОГПУ он бывал нечасто, а кое-какие проблемы, по книге, надо было бы обсудить очень срочно, притом непременно с Менжинским. Собственно, не проблемы, а только одну: нужен фотограф для иллюстраций, вернее говоря, фотограф есть, а вот материалов для его работы – нет. Виктор Афанасьевич не думал беспокоить по этому поводу начальство ОГПУ и совершил вылазку сначала в промтоварный магазин главка, где искомого не нашлось, затем – на Сушку. На Сушке, то есть на Сухаревском рынке, по сведениям продавца промтоварного, можно было купить не то что фотоматериалы, а хоть живого слона. Слона, положим, Виктор Афанасьевич на Сушке не обнаружил, однако повстречал цыгана с унылым медведем, похожим на овчарку-переростка, а вот фотопластины и реактивы нашел. После чего, даром что был хорошо воспитан, помянул живым русским словом всех спекулянтов на свете – цены, сказать мягко, кусались, как блохи в ночлежке у Казанского вокзала, и если бы Виктор Афанасьевич потратил свои деньги на эту покупку, месяц, а то и два ему пришлось бы питаться сладким, но не очень калорийным московским воздухом. Потому Виктор Афанасьевич скрепя сердце решил навестить начальника – авось ему поспоспешествуют и найдут три десятка пластин в закромах родного главка, наводящего на нарушителей порядка страх и тоску…

– Врачи, – ответила девушка, постепенно приобретая цвет немногим более тусклый, чем косынка на ней. – Товарищу полпреду[3 - Полномочный представитель, одно из званий главы ОГПУ.] сильно нездоровится…

Тихонько скрипнула дверь, и раздался мягкий голос Менжинского:

– Ничего, Верочка, пусть пройдет. Здравствуйте, товарищ Спиридонов.

– Здравия желаю, товарищ полпред, – отчеканил Виктор Афанасьевич, глядя начальству в глаза. Сразу было видно, что Менжинский весьма нездоров – бледное, слегка синюшное лицо, потухший взгляд. – Вообще-то, у меня дело терпит, я мог бы…

– Оставьте, Виктор Афанасьевич, – слабой рукой отмахнулся Менжинский. – Зачем я тогда на работу вышел, на диване прохлаждаться? Проходите, будьте любезны, а ты, Верочка, сделай-ка нам с товарищем чаю.

– Но… Вячеслав Рудольфович… – принялась было возражать Вера, но Менжинский, кашлянув, остановил ее.

– Не тревожься, этот товарищ вряд ли меня раздраконит, – чуть улыбнулся он. – Да и у меня к нему есть дельце, не терпящее отлагательства. Ну, иди же, да положи гостю в стакан пару кусков рафинаду.

Чай с Менжинским пить было приятнее, чем с покойным Дзержинским. Невесть как, но этот сразу смекнул, отчего его подчиненный за чаепитием столь невесел, и чай для Спиридонова не забывал указывать сластить.

* * *

– Что случилось, Вячеслав Рудольфович? – с тревогой спросил Спиридонов, садясь на стул у стола в углу кабинета. Менжинский устало опустился в кресло напротив и тяжело вздохнул. – Выглядишь ты что-то неважно.

– А чувствую себя еще хуже, – признался полпред, – сердце, do jasnej cholery[4 - Пропади оно пропадом (польск.).], вчера прихватило так, что думал, уж и концы отдам.

– Работаешь много, – резюмировал Виктор Афанасьевич.

– Если бы! – снова отмахнулся Менжинский. – Работа, как говорится, не волк, беда в другом – не знаешь, откуда напасти ждать. Раньше мы все были как одно целое, как в песне поется, «братский союз и свобода – вот наш девиз боевой»…

Менжинский поморщился.

– И где оно, братство то? Начинаешь копать глубже – кругом враги; все друг на друга щерятся, каждый другого подтолкнуть хочет. Легко ли на это смотреть, понимаешь?

Спиридонов кивнул – дескать, да, он понимает. Это было заметно еще с того времени, как развернулась нещадная борьба между Сталиным и Троцким. Тогда казалось, что, стоит только вышвырнуть ревизионистов-троцкистов, и все наладится. Не тут-то было! То и дело появлялись слухи о новых контрреволюционных заговорах, а через несколько недель слухи становились новостями, и то, во что ты не хотел верить, неожиданно оказывалось правдой.

– Друзья, люди, с которыми прошел такое… – продолжил его невысказанную мысль Менжинский, – с кем краюхой хлеба делился, у кого прятался от охранки, do jasnej cholery, кому доверял, как брату, теперь вредители, гады подколодные… И все через меня идет. Веришь…

В дверь осторожно постучала Вера, звякнув подстаканниками. Полпред замолчал, дожидаясь, пока девушка поставит на стол чай и неизменную сахарную голову, а когда та поспешно вышла, продолжил:

– Я открывать новую папку с делом боюсь. Понимаешь почему?

Виктор Афанасьевич понимал. Понимал, что его начальник страшится увидеть знакомое имя. Но сколько таких знакомых уже прошло через его руки? Неужели предательство вшито в человеческую природу настолько, что вырвать его оттуда можно только самым жестоким террором?

– Да и под меня копают. – Менжинский взял чай, бросил быстрый взгляд на желтую сахарную голову и без особого удовольствия отхлебнул. – Понимаю, конечно, у многих зуб на меня. А что мне делать, скажи на милость? Подать в отставку? Так на мое место другой придет, вон Генрих облизывается уже. Даже странно – то, что для одного предел мечтаний, для другого – сущая каторга. Вот

скажи мне, что хорошего в моей службе? По горло в грязи, по локоть в крови, а перед глазами – только подлость, подлость, сплошная, psja krew, подлость!

– Ну, спокойней, Вячеслав Рудольфович, – встревожился Спиридонов. Не хватало еще, чтобы начальника прямо здесь апоплексический удар хватил…

– Ай, брось, – опять отмахнулся Менжинский. – Да и не в том тут дело. Рано Генриху на мое место. Горячий он, станет начальником ОГПУ – полетят головы, попомни мое слово. А пару лет погуляет, так и дозреет.

Спиридонов пожал плечами. Он не знал, что сказать, что посоветовать. Внезапно ему стало немного стыдно за то, что его жизнь спокойнее, чем у Менжинского.

– Ладно, – его собеседник отвел взгляд, – перетерпим, не баре. Рассказывай, с чем пожаловал. Да пей чай, остынет.

В этот момент собственные проблемы показались Виктору Афанасьевичу такими мелкими, что ему стало даже неудобно о них говорить, но раз уж он потревожил начальство, то должен был сделать так, чтоб хотя бы недаром.

– Мне нужны фотопластины, – признался он смущенно, – для иллюстраций. Штук хотя бы тридцать. И реактивы.

– Для книги? – догадался Менжинский. – А фотографировать кто будет?

– Дмитрий Усольцев, из МУРа, – ответил Спиридонов. – Но у него материалов нет, все, что выделяют, под опись, вот он и ноет, дескать, пока свои материалы не принесете, ничем, мол, помочь не могу.

– Тоже мне, проблема. – Менжинский отставил чай и потянулся к телефону. Через пару минут его соединили с нужным абонентом. – Франц Борисович, что у вас с фотоматериалами? – спросил он, не поприветствовав собеседника. – Кто-кто, МУР жалуется. С каких это пор… нет, пластины и реактивы. Не знаю я, почему. Сами и выясняйте. Вот что, – Менжинский прикрыл рукой трубку, – как муровца твоего зовут, напомни…

Виктор Афанасьевич напомнил.

– К тебе подойдет Усольцев, на днях. Выдели ему, что потребуется, и не скаредничай. По моему личному распоряжению. Нет, для «лейки» не надо, общим порядком. Знаю я вас, покопайся в ваших закромах, так и слона найти можно. (Спиридонов усмехнулся, вспомнив анонс Сушки.) Что? Ты, случайно, во вредители записаться не решил? Вот не надо мне рассказывать. Сам понимаю. Короче, аллюр три креста. Товарищ из командировки вернется, чтобы мне все было готово, ясно? Будь здрав.

Пока Менжинский все это говорил, он как-то ожил, приободрился, но стоило ему окончить разговор, как он вновь устало опустился в кресло, достал из кармана френча платок и промокнул испарину со лба.

– Контрреволюционеры доморощенные, – фыркнул он. – Спорим, найдет он тебе фотопластины? Они, видишь ли, МУРу «лейку» от щедрот выделили, а о том, что пленку из Германии надо выписывать, не думают. Эх…

– А кто у нас в командировку собирается? – уточнил Спиридонов.

Менжинский смущенно кашлянул:

– Ты, собственно…

– Странно, а я и не знал, – удивился Спиридонов. – И куда?

– В этот… как бишь его? Новосибирск, – ответил Менжинский. – Там в местном ОГПУ товарищ есть, по твоей части…

– В смысле, по какой моей части? – не понял Виктор Афанасьевич, а Менжинский тем временем, не вставая с кресла, достал с этажерки одну из многочисленных папок. Достал не глядя и протянул ее Спиридонову.

– А ты почитай, ознакомься, – предложил он. – Есть один человек с Сахалина, работал еще для разведки ДВР, выполнял задания в Маньчжурии и Японии. Потом перебрался в… Новосибирск. Он еще во Владивостоке собрал секцию по твоему дзюудзюцу, а как в Новосибирск перебрался, устроил и там, да с размахом. И с Осоавиахимом работает, и с нашими, динамовскими.

– Ну, что сказать, молодец, – пожал плечами Спиридонов, удивляясь, почему он об этом не слышал.

– Он просит перевести его в Питер или в Москву, – добавил Менжинский. – По семейным обстоятельствам. По нашей части в этом нет никаких проблем, как разведчик он уже «засвечен», как японист – не особенно нужен, хватает этого добра, после японской-то оккупации. Но у него в Новони… тьфу, Новосибирске наша динамовская группа, да и осоавиахимовцы эти. Нужно посмотреть, что у него там за подготовка, есть ли кем его заменить, а там и о переводе подумаем.

– Чего ж ему на месте-то не сидится? – спросил Виктор Афанасьевич, теребя завязки папки.

– Жена у него очень больна, – пояснил Менжинский. – В Москве или в Питере, мол, ее вытянут, а в Новосибирске, сам понимаешь… Провинция у нас до сих пор застряла во «времени оном», лечат едва ли не кровопусканиями, коновалы. Короче говоря, поезжай-ка и сам посмотри. Да и вообще…

Менжинский вновь промокнул испарину и продолжил доверительным тоном:

– Оцени, Виктор Афанасьевич, что он за человек. По бумагам у него все в ажуре, но бумага все стерпит, а личное впечатление всегда конкретнее. Помнишь, как Феликс говорил: прежде чем стрелять, в глаза человеку загляни.

Спиридонов помнил. Дзержинский мог быть абсолютно безжалостным, но все-таки старался следовать этому правилу. В отличие от большинства «сотрудников на местах». Но все, что происходило во дни «красного террора», упорно ассоциировали именно с ним.

– Когда выезжать? – уточнил Спиридонов. – Мне придется пару дней потратить, чтобы график тренировок для своих отладить, так что…

– Вот как отладишь, так сразу и поезжай, – прервал его Менжинский. – Только не тяни кота за причиндалы. Сам понимаешь, с болезнью не шутят…

* * *

Штатным сотрудником ОГПУ Спиридонов стал еще в двадцатых годах. Он участвовал в становлении РККМ, сначала лишь как инструктор. Однако вскоре успехи его учеников привлекли к себе внимание Железного Феликса, и бойцы Спиридонова во главе с ним самим стали участвовать в милицейских рейдах по притонам и малинам Москвы, создав себе грозную славу в бандитской среде после разгрома шайки Ваньки Шумилова по прозвищу Ломовой.

Знатное было дело! До революции Ломовой занимался английским боксом, отправляя в knock out всякого, кто соглашался с ним драться. Спиридоновцы разделались с его вооруженной до зубов бандой без потерь со своей стороны, а самого Ломового играючи уложил Спиридонов.

После этого о подвигах спиридоновских орлов заговорили по всей Москве и в окрестностях. Ходили слухи, нарком «выписал себе из Японии команду тамошних самураев», которые могут «голыми руками ломать саблю, ловить на лету пулю и пробивать кулаком кирпичную стену». До таких подвигов ученики Спиридонова, само собой, не дошли, но без всякой опаски выходили без оружия против численно превосходящего и хорошо вооруженного противника.

Все дело было в Системе. Система – это не только стиль борьбы, Система – это намного большее. Глупо в драке рассчитывать только на силу, только на техническое или численное превосходство. Когда-то японец по имени Фудзиюки Токицукадзэ внушил Спиридонову одну важную мысль – всякая победа начинается в голове. Из твоего знания противника, подготовки и способности быстро принять решение. У бандитов, пусть организованных и сбитых в крепкие шайки, в лучшем случае были весьма рудиментарные представления о тактике и стратегии, у Спиридонова на этом строилось все, это были его альфа и омега. Вот его ребята и выходили из множества поединков с минимальными потерями. Практически без потерь.

Когда ты что-то делаешь лучше других, правильнее всего сконцентрироваться на этом. Знаменитый Шерлок Холмс не знал, вращается ли Солнце вокруг Земли или наоборот – ему это было не нужно, а потому не важно. Так и Спиридонов, занимаясь подготовкой эркаэмовцев, не встревал ни в какие другие вопросы жизнедеятельности ОГПУ. Ему и в голову не приходило вникать в тонкости юриспруденции или изучать методику следственных мероприятий. Не интересовала его и внутрипартийная борьба.

Потому Виктор Афанасьевич не заметил, что данное ему Менжинским задание имеет некоторое «второе дно», а если бы и заметил, никак не стал бы на то реагировать.

На первый взгляд все было проще некуда, но лишь на первый взгляд. Как известно, люди, одержимые одной и той же пламенной страстью, лучше понимают друг друга, больше друг другу доверяют, легче раскрываются друг перед другом. Менжинский хотел посмотреть на сотрудника ОГПУ, с которым, возможно, придется работать в будущем, глазами такого же энтузиаста дзюудзюцу, человека, способного говорить с ним на одном языке. Лучшей кандидатуры, чем Спиридонов, для этого и придумать было нельзя.

Но, зная его характер и жесткое отношение к вопросам чести и честности, Менжинский не стал говорить Спиридонову об истинной цели поездки в Новосибирск. Во-первых, решил, что тот сам смекнет, во-вторых – искренне не хотел сильно вмешивать этого одержимого в тайные и не очень чистые дела своего ведомства.

Пусть остается незапятнанным на белом квадрате татами…

## Глава 3. Командировка

Кабинет Менжинского Виктор Афанасьевич покидал с картонной папочкой под мышкой и смешанными чувствами в душе. С одной стороны, у него хватало дел и в Москве: в обществе «Динамо» и при ОГПУ Спиридонов тренировал на тот момент в общей сложности двести курсантов плюс курировал несколько групп с молодыми инструкторами. Да и книга, хотя и близилась к завершению, была еще не закончена. Отрываться от работы, пусть ненадолго, ему не хотелось, но…

С другой стороны, Виктор Афанасьевич чувствовал странное воодушевление от предстоящей поездки, словно школьник в ожидании каникул. Последнее время его жизнь стала слишком размеренной, будто автоматической, и перемена, даром что тривиальная, была ему, наверно, нужна. Пора было внести какое-то разнообразие в привычный ход событий, всколыхнуть застой в заводи жизни, грозивший превратить эту заводь в болото.

А с третьей стороны (в отличие от медалей, у жизненных ситуаций часто бывает много сторон), Виктор Афанасьевич подсознательно опасался оставаться наедине с собой. Вопреки расхожему мнению, смелый человек вовсе не лишен страхов, он просто умеет их, что называется, «держать в узде». Виктор Афанасьевич был волевым человеком, с железной самодисциплиной. Он всегда был точен в словах и действиях, пунктуален до доли секунды, а его требовательность к другим зиждилась на гораздо более суровой взыскательности к самому себе. Такой характер – кремень! – вроде бы не давал места для сомнений и страхов…

Но сомнений и страхов среди людей нет только у мертвецов и памятников. Живой человек из плоти и крови, как бы он ни закалил свой характер, несет в душе груз эмоций. Дзержинского называли Железным Феликсом, но и он не был лишен страха, сомнений, предвзятости и порывистости, когда принимал решения. Менжинский, настоящий солдат революции, слег с сердечным приступом, столкнувшись с человеческой низостью среди тех, кого считал своими товарищами, солью соли земли.

И Спиридонов не был исключением из всех этих правил. Порой, когда судьба сводит нас с такими людьми, мы сразу же навешиваем на них ярлыки тупых солдафонов, бесчувственных чурбанов и другие, не менее обидные и несправедливые. А ведь недаром говорится: чужая душа – потемки…

В душе Спиридонова вот уже десять лет, словно лава в жерле кажущегося давным-давно потухшим вулкана, тлела неизбывная боль. От этой боли он и бежал, и для того, чтобы не встретиться с нею лицом к лицу, избегал воспоминаний и загонял себя до полусмерти, чтобы, забывшись усталым сном, не видеть никаких сновидений. Не нуждаясь в будильнике, он всегда заводил его, чтобы не проснуться тогда, когда, как он знал по опыту, запоминаются сны. Сны для него были самыми опасными врагами, самыми страшными чудовищами…

Единственным его спасением стала Система. Система была его миром, и Спиридонов стремился сделать этот мир лучше. Эта работа всецело занимала его и позволяла забыться. Разлуки с этим миром Виктор Афанасьевич не боялся, потому что Система была его жизнью, а от собственной жизни не уедешь на поезде, не улетишь на аэроплане. Система была при нем, с ним.

В этом мире он был не одинок. За годы деятельности он сумел зажечь своей страстью много юных сердец – эркаэмовцев, бойцов ВЧК и ОГПУ, и теперь его мир стал и их миром. Потому Виктор Афанасьевич не боялся отлучаться, оставляя учеников, – у него было кому его подменить.

Предложение Менжинского он принял потому, что интуитивно понял: у него есть шанс встретить человека, живущего в том же мире, что и он. Говорящего с ним на одном языке. Ради этого Спиридонов мог отправиться не только в Новосибирск – а хоть на далекий Таймыр. Хоть поездом, хоть на перекладных. Ибо человек, с кем ты можешь говорить на одном языке, кто разделяет твою страсть, кто живет в твоем мире, дороже многих сокровищ.

Ни лишения, ни труды, ни тяготы не пугали его. У него вообще со страхом с детства были весьма специфические отношения. Самым страшным для него было вовсе не это…

* * *

Встречая человека, не боящегося ни черта, ни дьявола, мы не знаем, почему он такой. Нам неизвестно, какое топливо сгорает в котле его бесстрашия. Сила личности? Самоуверенность? Фатализм? А может быть, глухое отчаянье, когда жизнь настолько опостылела, что смерть не пугает? Или что-то еще, вариантов множество, да и чаще всего причин тому несколько. Мужество и бесстрашие, как, впрочем, любая черта человеческого характера, только кажутся простыми, понятными. На самом деле личность соткана из множества тонких нитей – склонностей, переживаний, пройденных ситуаций, перенесенной боли и пережитого счастья.

Виктор Афанасьевич шел пешком в направлении клуба общества «Динамо» и думал о том, что необходимо сделать перед поездкой. Само путешествие не тяготило его: комнату в общежитии трудно было назвать домом, и в этом доме его никто не ждал. Он был свободен. Даже если с ним что-то случится, подготовленная им группа инструкторов способна продолжить становление его новой Системы…

Виктор Афанасьевич поймал себя на мысли, что так и не поговорил с Менжинским о том, что Система, которую он создал и преподает, больше не может именоваться по старинке дзюудзюцу. Но есть ли разница, как называть

мастерство самообороны? Спиридонов верил – определение имеет значение. Дзюудзюцу была японской школой самообороны; русская – народная, пролетарская – борьба должна называться как-то иначе, чтобы название отражало ее суть. Ну что ж, придется вернуться к этому позже.

…потому Виктор Афанасьевич не тревожился, покидая родные пределы. На своем веку он поездил вдоволь, исколесив родную страну от Дальнего Востока до Карпат. Так что о чем тревожиться? Чай, не на войну отправляется. Беспокоило его, как ни парадоксально, то, что в пути у него будет слишком много свободного времени. От Курского вокзала Москвы до Новосибирска курьерским поездом трое суток езды, а пассажирским и того дольше.

Виктор Афанасьевич не боялся пули, не страшился жизненных тягот, и никакая жизненная ситуация не могла выбить его из седла. Он был прекрасным примером бесстрашного человека, но в каждом бесстрашном человеке живет свой страх – для Спиридонова им был он сам и его прошлое.

* * *

Уже на следующий день, оперативно управившись со всеми делами, Виктор Афанасьевич прибыл на Курский вокзал, где с комфортом разместился в двухместном купе прицепного пульмановского вагона курьерского поезда. Кроме него в вагоне путешествовал только какой-то чиновник из наркомата путей сообщения с молодой женой и грудным младенцем. Семейство расположилось в другом конце вагона, что Виктору Афанасьевичу было на руку.

Спиридонов был абсолютно равнодушен к комфорту и с таким же успехом мог проделать путь в общем вагоне или даже в столыпинском, но имелся один нюанс. Он много курил, и чаще всего на ходу, не замечая, как достает курево и закуривает. Выбегать из купе в тамбур, чтобы посмолить, было для него обременительно – тормозилась работа. А в прицепном к представителю начсостава с комбриговскими ромбами на петлицах ОГПУ никто не станет цепляться, если он закурит прямо в купе. И это было очень и очень кстати.

Попутчиков Спиридонова провожала стайка родственников, так что до отправки поезда в вагоне было шумно и оживленно, но провожающие ему не мешали. Он забросил на верхнюю полку видавший виды дорожный саквояж небольшого размера, в котором уместилось все нужное ему в командировке, на столик

положил портфель – там была рукопись книги и папочка с личным делом новосибирского товарища, в которую Спиридонов еще не заглядывал, оставив это занятие на дорогу, принял у проводника белье и чай, которого не заказывал, и едва успел сесть на сиденье, как вагон вздрогнул – машинист подтянул сцепку.

Через несколько минут состав тронулся. Виктор Афанасьевич смотрел в окно, не прикоснувшись к чаю и не приступая к работе. Воспоминания, от которых он старательно отгораживался все это время, прорвали плотину. Он знал, что так и случится, и был к этому готов.

Железная дорога всегда что-то меняла в его жизни. Она привела его в Кремлевский полк; по ней он попал в Казанское пехотное училище. По железной дороге молодой, только что получивший звание подпоручик отправился в далекую Маньчжурию, где еще не стреляли, но порохом пахло все явственней. Когда объявили о наборе добровольцев на доукомплектование Третьей сибирской стрелковой дивизии, Спиридонов вызвался в числе первых. И вновь, казалось, воинская Фортуна к нему была благосклонна: его распределили в Одиннадцатый Восточно-Сибирский Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Марии полк. Не гвардия, конечно, но элита.

По Транссибу добровольцы ехали в приподнятом настроении. Надвигавшаяся война казалась им легкой прогулкой, японцы представлялись туземцами-дикарями, чему немало способствовали распространяемые в эшелоне лубочные картинки, изображающие солдат будущего противника какими-то паяцами, карикатурной версией монголо-татар. Впрочем, Виктор Афанасьевич не то чтобы не разделял всеобщего бодрого настроя, скорее наоборот, но к грядущему конфликту подходил со всею серьезностью, как и вообще ко всему.

Лишь по прибытии в Порт-Артур стало ясно, что картина не столь радужна, как хотелось бы. Могучая крепость существовала лишь на бумаге. Город представлял собой огромную стройку. Запасов было всего ничего, а каждый день прибывали многочисленные эшелоны. В интендантской службе царила чехарда и путаница. В общем и целом оптимизм внушали только грозные, выкрашенные в белое громадины кораблей Тихоокеанской эскадры на рейде.

Виктор Афанасьевич прибыл в Порт-Артур в начале сентября. Прошел сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, приближался Новый год, но положение в городе не менялось – все та же чехарда, все та же бестолковщина, нехватка всего и вся и

тотальная неготовность. Впрочем, даже с учетом этого боевой дух армии был высок. Никто не верил, что японский император решится бросить вызов великому северному соседу. Да, Япония воевала с Китаем, воевала и победила, но Россия – это вам не Китай, где солдаты семицветных знамен на высочайший смотр приходили с деревянными алебардами и мечами из жести, а наиболее современными были войска коррумпированных туземных аналогов Алексашки Меншикова, лишенных грозного взора Петра. Во всяком случае, безумная императрица Цы Си не тянула не то что на Петра Великого, но даже Петр III на ее фоне казался умелым администратором. Об этом наглядно свидетельствовали береговые батареи, брошенные китайцами в Порт-Артуре и Дальнем – такие пушки молодой Виктор видел когда-то в Кремле возле Оружейной палаты.

Каждый подданный Государя, живущий в крепости Порт-Артур, проходя по берегу и глядя на громадные броненосцы «Пересвет» и «Победа», был свято уверен, что бросить вызов такой мощи у японцев кишка тонка. О да, эти белоснежные, желтотрубые гиганты, чьи высокие борта в безлунную ночь сиянием многочисленных иллюминаторов напоминали трансатлантические лайнеры, возившие эмигрантов в Америку, с удовольствием дающую свое гражданство любым представителям рода человеческого, а в солнечном свете ощетинившиеся двумя рядами скорострельных шестидюймовок, которые дополняли две башни с новейшими длинноствольными десятидюймовками, внушали подданным Его Величества Государя Николая Александровича уверенность и спокойствие.

Немногие японцы, живущие в Порт-Артуре, казались бедными, запуганными и жалкими… знать бы тогда, что эти «запуганные», трясущиеся человечки вовсю шпионят, по крупицам собирая информацию о гарнизоне, сколько жизней можно было бы сохранить! Но увы – лишь через полгода после начала войны, лишь через пару месяцев с начала блокады станет ясно, сколь крупное подполье подготовили заранее подданные Микадо. И во многом удалось это, кстати, благодаря Спиридонову и жертве ротмистра Гаева. Но сам Спиридонов так об этом и не узнал.

И никому не было ведомо, что над Россией, пока еще не видимый никому, уже парил злой рок. Страна жила, как человек, чувствующий себя совершенно здоровым и не знающий, что в его организме растет злокачественная опухоль и ее метастазы медленно, но верно проникают во все кости, суставы и жилы. Смерть готовит свою жатву незримо.

Равно как и предательство.

* * *

Спиридонов отставил в сторону пустой стакан с подстаканником. Он не заметил, как выпил чай, и не запомнил его вкуса. Впрочем, впереди было двое с лишним суток пути, так что наверняка ему предстоит еще не одна чашка. Солнце подбиралось к зениту, время близилось к полудню, и Виктор Афанасьевич, чтобы не увязнуть в воспоминаниях, решил приступить к работе – ознакомиться с материалами, переданными ему Менжинским.

Развязывая тесемки папки, Виктор Афанасьевич поймал себя на том, что по непонятной причине чувствует к товарищу, с которым предстоит работать, необъяснимое предубеждение. Это было очень плохо. Нельзя начинать работу с человеком, заранее будучи настроенным по отношению к нему неприязненно, особенно если для такой неприязни нет объяснимых причин. Но Виктор Афанасьевич ничего не мог поделать с собой: незнакомый ему пока… как бишь его?.. Ощепков Василий Сергеевич… ну и фамилия тоже подходящая… был ему заранее неприятен.

Поверх документов лежала фотография этого В. С. Ощепкова. Фотография как фотография, явно сделана в каком-то фотоателье. Товарищ Ощепков сидит на стуле, повернутом спинкой вперед. На нем недорогой костюм, на голове – светлая шляпа. Лицо… обычное вполне лицо, но Спиридонову лицо Ощепкова не понравилось. Подсознание вынесло новосибирцу вердикт – аферист. Спиридонову не понравился щегольской вид Ощепкова, хотя умом он понимал – в фотоателье фотографироваться не ходят в рабочей робе и засаленном ватнике. Естественно, человек надел на себя самое лучшее, что у него было.

Фотография, к сожалению, хорошим качеством не отличалась, и Виктор Афанасьевич, который всегда смотрел человеку в глаза и довольно хорошо мог по выражению глаз понять характер человека, на этот раз не мог расшифровать выражения лица человека в шляпе. Это ему тоже не нравилось.

Бегло ознакомившись с карточкой особых примет и не узнав из нее ничего нового, Виктор Афанасьевич вновь закурил и приступил к изучению биографии В. С. Ощепкова, по ходу «следствия» делая пометки в небольшом желтом блокнотике, нарочно купленном им для этой цели. Удивительно, но спустя много

лет после окончания Казанского училища, не имея должной практики, он, как оказалось, не забыл ни каллиграфического письма, ни навыков скорописи, столь необходимых любому курсанту, чтобы поспевать конспектировать за лектором.

* * *

Солнечный свет стал пронзительно-золотым, каким он бывает лишь на закате, когда Спиридонов, борясь с раздражением, отложил в сторону папочку и извлек из полностью потерявшей форму картонной пачки предпоследнюю папиросу. Несмотря на открытое окно, продувающее купе свежим ветерком, слегка пахнущим креозотом, стойкий запах папирос успел полностью овладеть помещением за то время, что Спиридонов посвятил заочному знакомству с Ощепковым.

Видит бог, он старался изо всех сил! Правда, в Бога Спиридонов не так чтоб не верил, скорее просто отодвинул его куда-то на периферию. В мире, в котором он жил, творилось так много несправедливого, что трудно было понять, как же Бог мог все это допустить. По крайней мере, сам Спиридонов это себе объяснить не мог, а потому предпочитал об этом не думать. Всегда найдутся более насущные темы для размышления, чем попытки понять причины вселенской несправедливости и человеческой низости.

Например, некто Ощепков и его, Спиридонова, к нему предвзятое отношение. Конечно, пока он ознакомился с делом только в первом приближении, не вчитываясь глубоко, но…

В этом Василии Сергеевиче Спиридонову не нравилось решительно все. Складывалось впечатление, что в момент чтения некий невидимый суфлер все время комментировал прочитанное в отрицательном для Ощепкова ключе. Но самое неприятное, что никакого суфлера, конечно же, не существовало, это сам Виктор Афанасьевич так воспринимал коллегу.

Ему действительно не нравилось буквально все. Начиная с происхождения. И дело даже не в том, что Ощепков оказался «дважды каторжником» – сыном каторжанки от ссыльнопоселенца, – а в том, что мать его «чалилась» по уголовной статье, отец же был мелким склочником с большими амбициями. Амбиции, впрочем, ему быстро пообломали, но этот хитрован и на Сахалине сумел устроиться, оставив чаду (которого признал не сразу, а если быть точным,

похоже, только на смертном одре) довольно неплохое наследство. Откуда, скажите на милость, у каторжника… ну хорошо, ссыльнопоселенца, разница невелика… такой капитал? Одних только домов у Ощепкова-старшего оказалось три, два из которых были доходными, а в третьем, самом жалком, этот скряга жил, пока не помер. Хотя промышлял вроде как плотницким делом, а не золотодобычей. Чудеса в решете – явно ведь тут что-то нечисто. Наверняка ощепковский папа ловил рыбку в мутной водичке Сангарского пролива…

Да бог бы с ними, с родителями, их, как известно, не выбирают, а у Виктора Афанасьевича ни малейшего предубеждения против рабоче-крестьянского происхождения отродясь не бывало. В конце концов, и его отец был тоже не Рюрикович, а купцом стал после того, как на свет появился он, Виктор. Спиридонову даже жаль было парня, в одиннадцать лет оставшегося сиротой-беспризорником. Однако бес предвзятости, взявший его на абордаж при прочтении дела Ощепкова, коварно нашептывал на ухо, что парнишка, в общем, устроился неплохо для беспризорника. Уж кого-кого, а сирот Спиридонов в послереволюционные годы навидался, сотрудничая с Дзержинским. На их фоне жалость к Васе Ощепкову стремительно блёкла.

Опять-таки учеба в семинарии никак на мнение Спиридонова не повлияла: истово верующим он не был, но и к воинствующим атеистам не относился, просто веру он, как было сказано, за ненадобностью запихнул на чердак своей души вместе с любовью, надеждой и прочими благородными чувствами, оставив себе для ежедневного пользования исключительно честь, верность Родине и долг. Тем более что особой ревности в семинарии Вася Ощепков не проявил, зато, как ни странно, с полного благословения митрополита Николая, которого так почитают окопавшиеся в Шанхае и Харбине недобитые беляки, отправился в институт дзюудо Кодокан в Токио.

Последнее обстоятельство на некоторое время расположило Виктора Афанасьевича к будущему подопечному. Очевидно, парень был не без таланта, раз сумел сначала сдать на первый, а затем, уже в семнадцатом (в том самом страшном семнадцатом, услужливо подсказал бес, но Виктор Афанасьевич отогнал непрошеные воспоминания), – и на второй дан. Дан в дзюудо – это вам не пост предводителя дворянства в заштатном городке, его за деньги не купишь, по знакомству не выклянчишь. Хочешь не хочешь, за него надо драться и побеждать, притом да не какую-то там шпану, а таких же претендентов, японцев, для которых дзюудо – родное. Но в остальном Вася Ощепков оставался для Спиридонова смутно неприятным.

На кого он только не работал: сначала на царскую охранку, потом тренировал милицию ДВР, потом служил колчаковцам… правда, с пометкой: выполнял, мол, ответственные задания Заамурского осведомительного отдела РКП(б), ну-ну. Лукавый нашептывал, что служил Вася, похоже, и нашим, и вашим, но умел проскользнуть между капельками. Виктор Афанасьевич искал рациональное объяснение, откуда у него такая подозрительность к этому человеку, но отделаться от нее не мог и невольно искал подтверждение своим подозрениям в биографии дальневосточного незнакомца. Хотя какие могут быть подтверждения, если у ВЧК/ОГПУ никаких претензий к этому Ощепкову не было?

А поди ж ты, не принимает грешное тело матушка-Волга, хоть расстреляй, не принимает.

С двадцать первого года Ощепков живет в Японии, точнее, на Сахалине (еще одно неприятное воспоминание, которое тоже приходится отгонять силой воли, но в ноздрях уже щекочет запах карболки пополам с какими-то благовониями, запах японского госпиталя, который был для него, Спиридонова, персональной тюрьмой… и еще что-то восточное, более нежное, как теплая кожа, но от того еще более болезненное). Да не просто живет, а каким-то хитрым способом добивается, что японские власти признают его наследником умершего отца. Что никак не может быть без того, чтобы япошки ему не доверяли, то есть опять намек на двурушничество… Наследство, по сахалинским меркам, немаленькое, так что, распродав его часть, юноша приобретает кинопроектор и организовывает кинотеатр, весьма охотно посещаемый японцами. Вроде все чисто, но у Виктора Афанасьевича тут же появляется стойкое впечатление, что быть коммерсантом Васе Ощепкову пришлось по душе. По-человечески понять его можно – когда в одиннадцать лет ты одинок, как придорожное былье, в кармане дыра, желудок сводит от голода, мечтать о богатстве – единственное доступное утешение. Однако… все равно это неправильно. На дворе двадцать первый, Гражданская война толком не кончилась, а Вася разгуливает по Александровску, сладко ест, мягко спит и в ус не дует. Дальше – больше: через три года Ощепков отправляется в Японию через Харбин, где внезапно женится на невесть как оказавшейся там русской девушке Марии. Нет, русских в Харбине, конечно, полно, но каких русских? Недобитых колчаковцев и прочих, как выражался товарищ Дзержинский, контрреволюционных элементов… Виктор Афанасьевич закурил, вспоминая, как Железный Феликс произносил это выражение, с грозным рыком на двойном «р», подчеркнутым сильным польским акцентом.

Итак, русская девушка Маша и скоропалительное венчание в Харбине. Любовь с первого взгляда, как… опять приходится останавливать себя, чтобы не обжечься о собственное прошлое. Итак, наш Вася, на тот момент вполне себе, кстати, женатый на совершенно другой женщине, потерял голову от любви? Что-то не состыковывается. Почему – Виктор Афанасьевич сказать не мог, но в том, что не состыковывается, он ни капли не сомневался.

А ведь иногда людям просто необходимы сомнения. Особенно тогда, когда мы готовы осудить кого-то, подчас толком не зная его. Впрочем, о ком мы можем сказать, что хорошо его знаем, кроме самих себя? Да и сами себя удивляем, разве не так? И часто нам кажется, что человек нам понятен, тогда как мы просто выдумываем его характер, сами себе рисуем картину, а человек проявляет себя иначе, чем мы от него ожидаем…

Солнце тем временем село. Вошел проводник, осведомился, не пора ли зажигать свет в купе. Виктор Афанасьевич раздраженно кивнул – он еще не закончил работать. Неожиданно на него навалилась усталость, такая невероятная, какой он не чувствовал и после самых изнурительных тренировок. У него даже начали слипаться глаза, но он заставил себя дочитать то, что осталось, – все так же бегло, не вчитываясь, «начерно».

Оказалось, не так давно Ощепков был обвинен в растрате, и, по мнению Спиридонова, от более строгого кадрового решения его спасло только то, что его начальство само зарылось рыльцем в пух по самые уши, а центральные органы ВЧК вовремя на это обратили внимание. Естественно, Ощепкова тоже проверили и… признали невиновным. Более того, зачислили в штат отделения рабоче-крестьянской Красной армии и назначили переводчиком-консультантом (японистом, как указано в личном деле). Приказ номер двадцать шесть Реввоенсовета СССР от двадцать шестого января тысяча девятьсот двадцать шестого года…

Казалось бы, сиди и радуйся: обвинения сняты, зачислен в штат, жалованье выплатили задним числом. А неблагодарный Ощепков уже в апреле начинает обивать пороги с целью перебраться в Петроград или в Москву. Мотивируя свою просьбу тем, что у него больная жена: туберкулез обширного поражения – и легочный, открытой формы, и туберкулез костей одновременно.

Дочитав до этого места, Виктор Афанасьевич опять отложил папку на стол. Не глядя, нашарил на столешнице пачку и вытащил из нее папиросу. А когда стал

заламывать козью ногу, то понял, что у него руки трясутся.

Нет, невозможно уйти от воспоминаний. Они как клеймо на лбу беглого каторжника – не сведешь, не прикроешь, не сделаешь вид, что их не существует. Они с тобой на всю жизнь.

* * *

Взяв себя в руки, Виктор Афанасьевич вышел покурить в тамбур пустого вагона. Его попутчики никак не объявили себя за все время пути и сейчас никаких признаков жизни не подавали, хотя как раз в эту минуту Виктор Афанасьевич был бы совсем не против любой компании. К сожалению, судьба нередко сводит нас с новыми людьми тогда, когда больше всего хочется побыть в одиночестве, и наоборот, оставляет нас наедине с собой, когда боишься остаться один.

За окном вагона царила кромешная тьма, и лишь острое от природы зрение позволяло Спиридонову разглядеть в этой тьме более темную массу деревьев, обступающих по сторонам дорогу. Край, по которому мчался курьерский поезд, был пустынен, как и четверть века назад, и Виктор Афанасьевич не был уверен, что четвертью века спустя он не останется столь же пустынным, как и сейчас.

Этим путем он уже проезжал, притом дважды. Поездка «туда» была наполнена тревогами и надеждами молодого подпоручика, путь «обратно» был для все так же молодого, но успевшего приобрести первую седину поручика горек, как хинин, со вкусом которого он познакомился в японском госпитале. В плену.

Гордость, чувство силы и защищенности, уверенность в завтрашнем дне – все это было унесено тремя взрывами на рейде у крепости Порт-Артур. В результате атаки японцев половина Тихоокеанской эскадры вышла из строя, и лишь мелководье спасло главную силу – эскадренные броненосцы «Ретвизан» и «Цесаревич» – от гибели. Двойное превосходство японцев в кораблях первого ранга мгновенно превратилось в тройное. Чтобы наглядно это продемонстрировать, в тот же день к вечеру японские корабли первого ранга, словно на параде, продефилировали, впрочем, не приближаясь на пушечный выстрел, вдоль берега – шесть новеньких броненосцев английской постройки, столько же новейших броненосных крейсеров… Адмирал Того не зря учился в Британии – этот променад должен был показать рюси, кто в море хозяин. Показать бессмысленность попыток воспрепятствовать переброске войск на

полуостров.

Тем не менее боевой дух оставался высок и у русских войск в целом, и индивидуально у Виктора Афанасьевича, особенно с учетом того, что японцы, казалось, не спешили начинать высадку у Порт-Артура, несмотря на свое превосходство на море. Русскую эскадру возглавил Макаров. Под его умелым и энергичным командованием она стала быстро восстанавливать боеспособность. Японцы занервничали, но в конце марта Макаров при попытке «поймать Того за хвост» погиб вместе с броненосцем «Петропавловск». Стало ясно, что японцы вот-вот высадятся. Но русские солдаты не боялись этого, даже наоборот – ожидали незваных гостей, серьезно настроившись показать им, где зимуют русские раки.

Спиридонов, как и многие, просто не мог усидеть на месте. Он снова вызвался добровольцем при комплектовании конной разведки, куда его как бывшего кремлевца взяли с большим удовольствием, и принял участие в самом первом майском бою с только что высадившимися, а точнее, не успевшими полностью высадиться японцами. Схватка была короткой и ожесточенной; русские хотели сбросить японский десант в море и дважды достигали цели, но на стороне инсургентов был численный перевес, а нерешительный Стессель так и не отправил подкреплений, которые могли бы повернуть ситуацию в пользу русских. Так для Спиридонова началась эта война, война, в которой он, как и другие, исполнил свой долг до конца, но это не помогло избежать поражения.

Он участвовал в бою при Цзиньчжоу, где погиб его конь, Огонек, проделавший с ним долгий путь из Москвы в Казань, а оттуда на Дальний Восток. Огонек был не молод, умер быстро, но Спиридонов привязался к нему и остро переживал потерю, с сухими глазами оплакав до этого погибшего в поединке с японцем своего друга ротмистра Гаева.

Все так вертелось, что с какого-то момента Спиридонов больше не думал о будущем. Ни о возможной победе, ни о возможном поражении. Время, раньше перетекавшее из прошлого в будущее через заводь настоящего, сократилось даже не до «сегодня», а до «сейчас». В этом «сейчас» были взмыленные кони, пороховая гарь, стремительные налеты на наступавшие японские части, рейды по тылам, конные пикеты, по-казачьи именуемые разъездами, караулы на привалах… гибнущие враги, гибнущие друзья, выстрелы и тонкое пение пуль – боевые будни, если война может быть будничной. Русская армия сражалась отчаянно, потери японцев вдвое-втрое превосходили потери русских, но…

У японцев, господствующих на море, всегда была возможность получить подкрепление. Убитого врага сменял новый – живой, равнодушный к смерти и готовый отнять чужую жизнь; а каждый убитый, каждый тяжелораненый ослаблял Российскую армию, и эту слабость компенсировать было нечем. Если поврежденные в гавани корабли в конце концов вернулись в строй, за исключением потерянных безвозвратно «Петропавловска», «Варяга» и «Боярина», то люди выбывали из строя совсем, окончательно. И все же боевой дух русских солдат и в этих чудовищных условиях оставался высоким. Все знали, что на севере, у реки Ялу, русская армия под предводительством признанного в Европе стратега и тактика генерала Куропаткина вот-вот должна была разбить Первую японскую армию, после чего, конечно, удастся деблокировать и Порт-Артур. Более того, на Балтике собиралась Вторая тихоокеанская эскадра, которую, по слухам, должен был вести флигель-адъютант Его Величества, талантливый и дерзкий вице-адмирал Рожественский. Потому Спиридонов о будущем не тревожился – ему с головой хватало забот текущего дня…

В Русско-японской войне России не повезло вдвойне, но, как ни странно, японцы причинили ей не столько вреда, сколько причинили его себе сами русские. Да, был цусимский разгром, была позорная капитуляция Порт-Артура – но почему? Потому что в далеком Петербурге, не многим ближней Москве, да и по всей стране, от Варшавы, Одессы и Юзовки до Благовещенска, Спасска и Харбина, закипела «первая русская революция» – очень удачно, надо сказать, для японцев. В этих условиях, как ни странно, было не до далекого «незамерзающего порта», пользы в котором русские либералы – поджигатели революции – не видели вовсе, и тем более не до изнуренной колоссальным переходом Второй эскадры во главе с «придворным лизоблюдом» Рожественским.

Оставались еще люди. Тысячи брошенных на милость судьбы солдат и тысячи обреченных на могилу в холодных водах Куросио матросов. Но когда революционеров интересовали какие-то люди?

А потом были граничащая с предательством поспешность Витте, позорный, но едва не ставший, благодаря усилиям национал-предателей, еще более позорным, мир с Японией и возвращение домой. Возвращение, больше похожее на траурную процессию.

Спиридонов приоткрыл дверь вагона и выбросил в темноту пустую папиросную гильзу. Он всегда докуривал папиросу до конца, до того момента, когда в ней уже не оставалось табака. Впрочем, он всегда все делал так – до конца, до последней йоты и последней черты.

* * *

Когда он вернулся в купе, сон как рукой сняло, но, что хуже, случилось то, чего он боялся и чего не хотел, – его придавили воспоминания. Ожили, поднялись из маньчжурской земли враги и друзья, замелькали перед мысленным взором японские штыки и желтые, коричневато-желтушные лица солдат противника, иногда яростные, иногда перепуганные. Он потерял счет прошедшим дням и боям. Казалось, война идет уже много лет и никогда не кончится. Русские солдаты сражались отчаянно, самоотверженно и умело, но теряли позицию за позицией, сопку за сопкой.

Спиридонов и его эскадрон всегда были в самых горячих местах, там, где шли самые кровопролитные бои. Он был дважды ранен, оба раза легко. На темляке его сабли после Цзиньчжоу появились знаки отличия ордена Святой Анны IV степени, а после гибели Валерки Гаева в далекий Петербург ушло представление на орден Святого Станислава. Все это не имело значения. Значение имело место, время и то, с чем придется столкнуться. Военная Фортуна с обожженными крыльями все еще реяла над его головой, стараясь не опускаться слишком низко, чтобы не словить шальную пулю из ружья системы Мурата. Напоследок под командованием подпоручика, вернее, уже поручика, о чем сам Спиридонов пока не знал, поскольку японцы перебили телеграфное сообщение с Большой землей, эскадроном был захвачен пулемет Виккерса с полным комплектом боеприпасов – это случилось в начале августа, еще до захвата Дагушаня. Суть была не только в трофее – еще два его брата были выведены из строя, а главное, уничтожен весь пулеметный взвод, что в тех условиях было чудом, сравнимым со взятием Эрзерума. За этот бой Спиридонов получит орден Святой Анны следующей, третьей степени, но узнает об этом только через два года. А мог бы вообще не узнать.

Да и не до того было – восьмого августа Спиридонов был легко ранен, а одиннадцатого принял участие в сражении за Китайскую стенку. В этом ночном бою японцы потеряли убитыми двадцать тысяч человек, половину своей армии, русские – только три тысячи, но эти три тысячи сильно ослабили и без того

немногочисленные ряды защитников.

Увы, к сожалению, об этом подвиге почему-то не принято вспоминать, а ведь по своему героизму он стоит в одном ряду с подвигом защитников Брестской крепости. Но ни Спиридонов, ни другие русские солдаты не чувствовали себя героями. Они не думали о подвигах, чинах и наградах. Они сражались на чужой земле с численно превосходящим неприятелем, не думая ни отступать, ни сдаваться.

После этого боя Спиридонов вернулся к рейдовым действиям в тылу врага, но, как говорят в Рязанской губернии, до поры до времени кувшин по воду ходит. Нет такой хитрой старухи, на которую не найдется проруха. Взбешенному колоссальными потерями неудачного штурма командующему японской армией Ноги Марэсуке очень не нравилась беззащитность его тылов перед атаками казачьих и добровольческих разъездов, и он поставил вопрос ребром – просачивающиеся группы русской кавалерии необходимо ликвидировать. В ход была пущена не только японская кавалерия, довольно дурного качества, но и пешие отряды самураев-охотников. Долина между Волчьими горами и укреплениями города превратилась в большую ловушку, и вскоре пришел черед и группы Спиридонова.

Это была жестокая ночная схватка. Противник набросился на разъезд со всех сторон, верхами и пешим порядком. Огонь ни та ни другая сторона не открывала, бой шел исключительно на саблях, при этом японцы сразу постарались лишить русских лошадей, а с ними – и преимущества в схватке и возможности уйти.

Русские дрались молча, японцы тоже хранили молчание. Лишь изредка к звону сабель примешивалось русское или японское короткое и тихое ругательство. С самого начала Спиридонов понял, что уйти к своим надежды нет. Что ж… такова судьба солдата, смерть всегда готова принять его в свои холодные объятия, решил он для себя, и стал стараться подороже продать свою жизнь.

Его ранили несколько раз, одна рана была серьезной – японская сабля пропорола бок там, куда, по преданию, сотник Лонгин ткнул копьем Христа, чтобы убедиться в его смерти. Воды из раны не текло, но начавшееся кровотечение старалось за двоих. Вскоре от потери крови его замутило, перед глазами поплыли темные полосы и пятна. У него выбили из рук саблю, кто-то сильно заехал ему по спине чем-то тупым, возможно, прикладом. Упав на землю,

он понял, что теперь надеется только на быструю смерть. Затем еще попытался подняться на ноги, но новый удар поставил крест на его усилиях, а заодно и погасил сознание.

## Глава 4. Учитель

Виктор Афанасьевич достал из пачки новую папиросу и закурил. Курить он начал в Порт-Артуре, и совершенно зря – через полгода, когда махорка стала дефицитом, он жестоко страдал от этой дурной привычки. В плен он попал в двадцатых числах октября, между третьим и четвертым штурмами, точнее сказать не мог – дни сливались в один непрерывный поток, и единственное, что он смог выяснить после войны, – что это произошло за несколько дней до битвы за Высокую гору. Будучи тяжело раненным и, как и все остальные защитники блокированного города, сильно истощенным от постоянных нагрузок и недоедания, он лишь каким-то чудом не отдал богу душу. Сначала он валялся в забытьи от кровопотери, затем, вопреки усилиям японских медиков, к чести последних, ухаживавших за пленными не хуже, чем за своими солдатами, его настигла лихорадка.

Человеку штатскому, должно быть, невдомек, что лихорадка, тиф и гангрена отняли намного больше солдатских жизней, чем пули и осколки, бомбы и гранаты, штыки и сабли. Потому Нобелевская премия Яну Флемингу за открытие пенициллина была выдана без особенных обсуждений. Появление антибиотиков по своему значению для человечества намного важнее, чем многие другие открытия, но обыватель, как правило, не имеет об этом ни малейшего представления. Слова «лихорадка» или «контузия» ничего не трогают в его душе.

Спиридонов в те дни был, как никогда, близок к смерти. Более того – окажись на его месте кто-нибудь послабее, он бы не выжил. Но организм Спиридонова, пусть и не без труда, выдюжил. Впоследствии он часто думал, что лихорадка, продлившаяся почти шесть недель, была для него милостью Божьей. Когда он в горячке метался по набитому рисовой соломой японскому тюфяку, одиннадцатидюймовые виккерсовские гаубицы, как уток в тире, расстреливали уцелевшие после почти безнадежной, но лишь по роковому совпадению не удавшейся попытки прорыва во Владивосток корабли эскадры. Истратившие

последнее топливо и снаряды, беззащитные и неподвижные красавцы «Ретвизан», «Цесаревич», «Севастополь», «Полтава», «Пересвет» и «Победа» ничем не могли ответить врагу. Им оставалось лишь умереть, притом умереть совсем не геройски.

Сознание постепенно возвращалось к Спиридонову с восемнадцатого декабря – незнакомыми запахами, непривычным вкусом мисо-сиро, которым его кормили, горечью хинина на губах, непривычной жесткостью циновки под ним…

Вскоре он понял, что в плену, однако еще не знал, сколько он здесь пробыл. Впрочем, это было не важно. Он не знал, что творится за хлипкими стенами госпиталя, но верил, что бои продолжаются, что русские солдаты все так же стойко держат оборону в ожидании скорой уже деблокады победоносными войсками генерала Куропаткина…

Пожилой, во всяком случае, с точки зрения Спиридонова, врач пытался говорить с ним на довольно хорошем для восточного человека французском. Спиридонов пытался ему отвечать. Он назвал себя и свое звание и поинтересовался, в каком статусе здесь находится.

– В статусе опасно больного, но, хвала светлым духам Нихон, уже выздоравливающего, – улыбаясь, ответил врач. Впрочем, о статусе можно было не спрашивать – часовой, дежуривший у его, если это можно так было назвать, палаты, совершенно определенно свидетельствовал, что Спиридонов в плену врага.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Китайское глинобитное строение: дом или хозяйственная постройка. – Здесь и далее примеч. автора.

2

Велика жатва, но мало делателей (Матф. 9:36; польск.).

3

Полномочный представитель, одно из званий главы ОГПУ.

4

Пропади оно пропадом (польск.).

---

Купить: https://tellnovel.com/oleg-roy/belyy-kvadrat-lepestok-sakury

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити